

Неоконченное. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке
<http://saltykov-shchedrin.ru/> Приятного чтения!

Неоконченное. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин

<В ЧИСЛЕ ФИЛОСОФСКИХ УЧЕНИЙ...>

В числе философских учений есть одно, которое в пошехонской среде пользуется особенной популярностью. Это учение гласит, что в конце концов добро неизбежно восторжествует, а зло посрамится. И тогда будет всем хорошо.

Каким образом и в какой срок совершится эта метаморфоза – на этот вопрос пошехонцы ничего определенного не отвечают. Они говорят только, что ежели от начала веков идет процесс водворения в мир добра, то нет резона не продолжать ему своего действия и на предбудущее время. Вспомните и сравните.

По всему, однако ж, видно, что метаморфоза посрамления зла совершится как будто сама собой. Пошехонцы будут сидеть у моря и ждать погоды, а в это время где-то «там» будет вертеться какое-то колесо. Вертится, вертится, и вдруг – трах! – приехали!

Самая это покойная философия. Ни почина, ни солидарности, ни ответственности – ни о чем подобном и в помине нет. Даже горестей волнений и негодований не полагается – потому что все равно добро и правда свое возьмут. Пускай «враг горами качает» – надорвется; пускай неправда ковы кует – для себя же она готовит их. Не бывать тому, чтобы зло не посрамилось, не уступило, не исчезло! Не бывать!

Но что важнее всего, философия эта нимало не мешает обыденному течению жизни. Все другие философии мешают, тревожат, а эта – нет. Благодаря ей можно на самые конкретные явления смотреть как на преходящие, как на «дурной сон». Покуда пошехонцы исправляются по домашности – все пройдет: и неурядицы, и недомогания, и даже прямые злодейства. Каждый может спокойно сидеть под своей смоковницей, улаживаться как ловчее и вести свою жизненную линию, в твердой уверенности, что добро свое дело сделает неупустительно.

Я охотно соглашусь, что уверенность в неизбежном торжестве доброго начала над злым сама по себе весьма симпатична, но не следует забывать, что она отнюдь не составляет исключительной принадлежности пошехонского мирозерцания. Вообще всем людям свойственно стремление к добру. Все люди сознают, что только прочное водворение добра может обеспечить пользование благами жизни, но не все одинаково относятся к самому процессу водворения. Одни полагают в этот процесс все свои физические и духовные силы, так сказать воспитываются в добре для добра; другие ограничиваются платоническими пожеланиями. Одни под личную ответственностью создают посильную сумму блага и, раз сделавши известное приобретение, стремятся претворить его в непререкаемый факт; другие – урывками и исподтишка крадут у жизни случайно выбрасываемые на дорогу крохи и ничего из этих легких приобретений извлечь не могут, кроме праздных и бессодержательных ликований.

К сожалению, пошехонцы принадлежат к числу последних.

Едва запахнет в воздухе «благими начинаниями» – сейчас они тут как тут. Суетятся, поздравляют друг друга, земли под собой не слышат, кричат: «Бог послал! бог послал!» и в то же время не налюбуются друг другом, только что во всеуслышание не говорят: «Посмотрите, какие мы благородные! как мы сочувствуем!» Но вот потянуло откуда-то гарью – и картина мгновенно меняется. Пошехонец мгновенно смолкает, озирается и жметя к сторонке. Не вступает на путь действительной измены, но ренегатствует страдательно; не идет прямо на совет нечестивых, не ежемгновенно жаждет провалиться сквозь землю. И в то же время опять-таки только что не говорит: «Вот какой я благородный! знаю, что в худых делах участвовать стыдно!»

А стоять в недоумении и хлопать глазами – не стыдно!!

МЕЖДУ ДЕЛОМ
(Продолжение)

Свидание с Износковым произвело на меня скверное впечатление. Есть в жизни условия, на которые лучше не открывать глаз; неприятно и унизительно бродить в темноте, но еще неприятнее и унизительнее получить такие разъяснения, которые не

Неоконченное. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru только не устраняют темноты, но представляют ее как неотвратимый факт и не подают никакой надежды на выход из нее. В жизни русской литературы есть тайна, и на дне этой тайны сидит «шлющияся» русский человек, из породы тех, которых в просторечии называют прохвостами. Этот человек, праздный, невежественный, не знающий, куда преклонить голову, поглощенный интересами жилетов и штанов, – этот человек имеет какое-то соприкосновение с литературой, воздействует на нее, и ежели не произносит прямо <Quos> vos ego[1] – то потому только, что русский язык выработал гораздо более целесообразное выражение: в бараний рог согну. Этот человек игнорирует литературу (он даже не без смеха говорит: я по-русски давно ничего не читаю), но, взамен того, презирает ее. Этот человек неразвит и невежествен до бестияльности, но так как на нем штаны от Тедески и сюртук от Жорже, то этого достаточно, чтоб он присвоил себе название представителя культурного слоя. Он – человек культуры, а литература – это сброд темных и подлых людей, не имеющих об культуре никакого понятия! И что всего страннее, этот человек чувствует, что он сила, что он и ему подобные представляют в некотором смысле «контингент»... Не сказка ли это?

Если б Износков был единичным явлением, он был бы только скучен, но безвреден; но двое Износковых уже не безвредны, потому что вдвоем они могут уже комплотировать. Пойдите дальше, представьте себе целый легион Износковых, которым, по причине их праздности, ничего не остается, как комплотировать, – и вы убедитесь, что тут есть уже действительная опасность, что это своего рода дамоклов меч, постоянно висящий над головой. Насколько достойны посмеяния эти люди, взятые поодиночке, настолько же страшны они, взятые скопом.

Говорят: литература уклонилась от благородного пути, что она пошла путями извилистыми и подлыми, путями, угрожающими утопить историческую русскую культурность в хаосе наплывных элементов, не имеющих ничего общего с культурой. Но позвольте же, милостивые государи! Во-первых, все это одни слова, опровергаемые вашим собственным наивным признанием, что русская литература для вас terra incognita,[2] а во-вторых, позволительно еще усомниться, кто имеет больше прав указывать путь, которым должна следовать литература: сама ли литература или так называемые люди культуры, то есть люди культуры, потопику-посолику надетый на них фрак удовлетворяет последним требованиям портного искусства?

Нет, дело не в путях, а в том, что задачи новой русской литературы сделались строже и яснее. Литература не забавляет больше, а призывает к самосознанию и к делу. Как бы ни многообразны и несходны были понятия о предстоящем деле – все-таки дело, а не безделье представляет литературный point de mire.[3] Вот тот нож вострый, который так не по нутру «шлющимся» людям. Им противна самая мысль об «деле»: даже такое дело, как дело «Домашней беседы» – и то тяжело, непосильно для них. И вот почему они так охотно останавливаются на «заблуждениях», маскируя этим словом самую простую ненависть к делу. Если б литература по-прежнему вела речь об улучшении быта безделицы – она могла бы блуждать и заблуждаться в этой области сколько угодно; но она блуждает в какой-то совершенно новой области, именуемой «делом», – и вот это возбуждает против нее целую бурю негодований и сквернословия!

И между тем влияние этих людей на литературу бесспорно и решительно. Ради их она утопает в недомолвках и оговорках, ради них она сохраняет Езоповские формы. Где она найдет для себя противовес, на который она могла бы опереться в борьбе с людьми культуры? Где тот читатель настолько сильный, чтоб она могла ожидать от него защиты и спасения? Ради их... но ради их ли одних? Вот Глумов уверяет, что культурные «герои» безделицы далеко не одиноки в этом случае; что и русские ученые, и русские исправники, и русские прокуроры, и русские сотские – все одинаковым образом относятся к русской литературе, то есть все высокомерно ее игнорируют, и в то же время все видят в ней или буффонство, или угрозу.

Что господа исправники относятся к русской литературе недоверчиво – это довольно понятно: им и без того дела по горло. Никогда еще вопрос о мерах ко взысканию недоимок не получал такого развития, и в то же время никогда так пропорционально мерам взыскания не развивались самые недоимки. Чем больше стараются взыскивать, тем больше получается поводов для дальнейших стараний. Вся жизнь сгорает в бесплодных усилиях «очистить уезд» и ради этой перспективы забываются и комфорт, и личные интересы, и даже семья. До литературы ли тут, когда поесть путем времени нет? Притом же литература ведет себя как-то странно: она говорит о производстве и накоплении ценностей, об истреблении же их умалчивает. Вопрос:

Неоконченное. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru что такое продажа крестьянской коровы ради уплаты недоимки? Есть ли это производство ценностей или истребление их? Вот что должна решить литература и решить непременно в смысле производства, а не истребления, а до тех пор, покуда это не будет сделано, все декламации литературы о производстве и накоплении будут не что иное, как личное оскорбление господ, на заставах команду имеющих, и вся литература – сквернословием.

То же самое должно сказать и относительно господ прокуроров. Они тоже всецело заняты ограждением общества от наплыва неблагонадежных элементов, и тоже чем больше стараются оправдывать доверие начальства, тем больше получают поводов и впредь стараться оправдывать начальственное доверие. И для них возникает вопрос: что такое преследование и ловля неблагонадежных элементов? есть ли это производство и накопление умственных ценностей или же истребление таковых? И дотолка пока литература не разрешит этого вопроса в пользу производства, до тех пор она будет сквернословием и опасным буфонством.

Но ученые – ведь это цвет интеллигенции; им не нужно ни недоимки взыскивать, ни преследовать неблагонадежные элементы. Интересы науки и интересы литературы должны быть одни и те же, ибо литература только популяризирует результаты, добытые наукой, заботится о применении их к практике жизни, обмирщает их, делает общим достоянием. Или, быть может, эта-то популяризация и кажется подозрительною? Или, быть может, с идеей популяризации соединяется темное предчувствие обличений в бесплодности некоторых усилий, в их совершенной оторванности от жизни, от мира явлений, рассматриваемого как гармоническое целое?

И мне невольно припоминались некоторые «ученые», с которыми мне случалось встречаться в жизни. Один из них, возвратившись с какого-то археологического съезда, хвастался, что по окончании работ съезда был устроен банкет и что на банкете этом пили из урны, в которой некогда был заключен прах Овидия.

– Вы в этом уверены? – спросил я его.

– Еще бы не быть уверенным, коль скоро я пятнадцать лет употребил на то, что Овидий умер в Полтавской губернии, в имении, принадлежащем Ивану Ивановичу Перерепенко, который и доставил на съезд урну.

– И слаще было вино из этой урны?

– Слаще-с, – сухо ответил он мне и с такою ненавистью взглянул на меня, что мне сделалось страшно.

Другой раз другой ученый хвастался тем, что он окончил давно задуманное сочинение «Домашний быт головастика».

– Понимаете, я дальше головастика не иду, – говорил он мне, – из головастика образуются лягушки, но это уже не моя область, а область моего почтенного друга Семена Семеныча Грустилова.

– Так что вы на всю жизнь предполагаете остаться при одних головастиках!

– На всю-с, – ответил он мне и, шаркнув <?>, сухо раскланялся <?>.

В числе моих товарищей по школе был некто Никанор Полосатов. В то время об ученом сословии в обществе существовали совершенно особенные понятия, очень недалекие от тех, выразителями которых были пресловутые Цыфиркин, Кутейкин и Вральман. Ученый человек представлялся в виде неряшливого существа, облеченного в фризовую шинель с бесчисленным количеством воротничков и запатанные сапоги, существо, от которого постоянно несло смешанным запахом водки и чесноку. Фигура Полосатова-мальчика как-то странно напоминала собой этого фризowego ученого. Несмотря на то, что он был одет в казенную курточку и пил и ел то же, что пили и ели и прочие воспитанники «заведения», но при взгляде на него всякий говорил себе: как смешон этот маленький педант в своей желтой фризовой шинели с множеством воротничков. Он был рассеян и ходил, словно в лесу; не кстат спрашивал, не кстат отвечал; внезапно начинал хохотать и внезапно же впадал в угрюмость. Когда учитель реторики объяснял, что всякую мысль следует развивать при помощи вопросов: quis, quid, quomodo, quando[4] и т. д., – то это поразило. Когда дальнейшее обучение объяснило, что каждое явление может быть

Неоконченное. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru рассматриваемо с различных сторон, с одной стороны то-то, с другой стороны то-то, с третьей то-то, – то это поразило его еще более. Казалось, что он уже с малолетства облюбовывал ту бездну пустословия, которая открывалась перед ним, при помощи рекомендуемых с кафедры приемов и что воротнички его фризовой шинельки трепетали при этом от восторга. Одна истина вдвигается в другую, другая в третью и т. д., покуда не образовался целый лес истин, в котором он и гулял. Это был очень удобный механизм вроде клавикорд, в которых каждую клавишу можно вынуть и заменить другою. Когда мы перешли на последний курс, последовала в русской уголовной практике реформа: четыреххвостный кнут был заменен треххвостною плетью. Полосатов, который перед этим только что окончил сочинение на тему: «Кнут, перед судом правды и справедливости», в котором доказывал, что злая воля преступника ничем другим не может быть так совершенно удовлетворена, как кнутом, – вдруг переменял клавишу, и на место старой вставил новую: «Плеть, перед судом правды и справедливости», причем, предпослав упреждению жестокою полемике с кнутом, доказал самым наглядным образом, что совсем не кнут, но именно треххвостная плеть есть наилучший ответ на требования, предъявляемые злою волей преступника. И чем старше он делался, тем с большею легкостью вынимал и вставлял клавиши, так что под конец заслужил уважение не только со стороны профессоров, но и со стороны директора заведения, старого генерала, страстно любившего фехтовать и потому полагавшего, что всякая наука должна обучать своих адептов ловким ударам и умению обмануть противника.

После выхода из школы я потерял из вида Полосатова: он остался в Петербурге, я запропастился куда-то вглубь. Но я никак все-таки не думал, что из него выйдет ученый. Я полагал, что он делается со временем отличным начальником отделения и будет с изумительною ловкостью вынимать и вставлять клавиши по манию директора департамента. Захочет директор написать: «с совершенным почтением имею честь быть» – он напишет: «с совершенным почтением имею честь быть»; захочет директор написать: «примите уверение в совершенном почтении» – он напишет: «примите уверение в совершенном почтении». «И преданности», – прибавит директор – «и преданности», – повторит и он. Увы! я совершенно упустил из вида ту фризovou шинель, которую я видел на нем в школе, видел, несмотря на то, что в натуре ее не было.

Лет через двенадцать я воротился в Петербург и узнал от Глумова, что Полосатов сделался ученым, что он служит в трех министерствах, но не как тягловой работник, а как эксперт от науки. Это было время нашего возрождения; время возникновения акционерных компаний и неслыханного развития железных дорог. Полосатов прежде всего обратил на себя внимание сочинением «Оплодотворяющая сила железных дорог», в котором очень тонко насмеялся над гужевым способом передвижения товаров и людей и доказал, как дважды два четыре, что с развитием железных дорог капитал получит такую быстроту обращения, что те проценты, которые до сего времени получались с него один раз, будут отныне получаться десять, пятнадцать, двадцать раз. Всем тогда показалось это просто и удивительно. Просто, потому что ведь и в самом деле... Это так просто! Удивительно, потому что в самом деле странно как-то, что до Полосатова никто и не догадался подумать об этом. Мне и самому, когда я читал сочинение Полосатова, показалось оно какою-то Шехеразадою. Катится-катится капитал по железной дороге с быстротою молнии, получает проценты, потом катится назад и опять получает проценты, опять и опять катится...

Потом он написал еще статью: «Единственный в своем роде случай», в которой, указывая на неистощимые богатства России и упрекая соотечественников в недостатке предприимчивости, приглашал мелких капиталистов употребить свои сбережения для образования акционерных компаний, которые одни могут вырвать промышленное дело из рук невежественных толстосумов-рутинеров, монополизировавших производительные силы России в свою пользу. Эта статья окончательно установила репутацию Полосатова как ученого и произвела такое впечатление на маленьких капиталистов, что некоторые из них, не имея собственных сбережений, стали воровать таковые у других с единственною целью вручить их специалистам по части разработки недр земли. И это сочинение я прочел, и тоже мне показалось так просто, так просто. Собрал свои сбережения, отдал их какому-нибудь Ивану Ивановичу, и затем гуляй себе да погуливай в Петербурге. Ты гуляешь, а там где-то у черта на куличках откармливаются на твои денежки бесчисленные стада четвероногих, из которых получается мясо, сало, кожа, рога; из мяса приготавливаются консервы, из сала выработываются стеариновые свечи, из кож – обувь, из рогов и костей – клей. А через год у тебя в кармане тридцать процентов! Да-с! тридцать процентов за то только, что ты гулял в Петербурге

Неоконченное. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru да последовал приглашению ученого Полосатова!

Но мне все-таки казалось, что Полосатов не более как гороховый шут, который потому только воспользовался дипломом ученого, что прочая-то культурная братия чересчур уж невежественна. Это убеждение было до того во мне сильно, что когда я в первый раз после долгой разлуки встретил его на улице, то, вместо того чтоб броситься к старому товарищу на шею, я вдруг предложил ему вопрос:

– Послушай, Полосатое, ты, кажется, ученый?

– Да, душа моя, – ответил он мне скромно, – то есть не гелертер, но ученый в хорошем значении этого слова. Ты понимаешь: для нас спасение в одной науке! В на-у-ке! – прибавил он строго и с расстановкой.

Я смотрел на него и ничего не понимал.

– Я стою на практической почве, – продолжал он, – я не понимаю немецкого взгляда на науку; по моему мнению, наука прежде всего должна искать применений. Конечно, ты читал мои статьи – их все читали. Но твое мнение для меня особенно важно, потому что ты профан. Я пишу для профанов, понимаешь ли? – для про-фанов!

294

Последние слова он почти выкричал и при этом взглянул на меня не то нагло, не то лукаво, так что мне сделалось очень неловко. Но он даже не выждал моего ответа и опять продолжал:

– Главное достоинство моих статей заключается в том, что они затрагивают ближайшие интересы, такие, которые поймет всякий, у кого в кармане лишних сто рублей. Эти сто рублей мне нужно, потому что я хочу их отдать производительности. Я хочу, чтоб на них получилось еще сто рублей. Ты понимаешь? Сто ру-блей!

– Да, мне и самому иногда казалось... – пробормотал я, чтоб что-нибудь сказать.

– Да? так ты, значит, читал? Не правда ли, что все очень просто? И многим, как и тебе, это кажется просто! А между тем это совсем не просто... А впрочем, я очень рад, очень рад! Приходи ко мне по средам: у меня собираются ученые... А покуда прощай!

Мы расстались, и я опять потерял его из вида надолго. С тех пор он успел остепениться, и хотя ни одно из его предсказаний не исполнилось, но репутация ученого так и осталась за ним.

ЗАБЫТЫЕ СЛОВА

Мне чудилось (не то во сне, не то наяву), что невидимая, но властная рука обвила меня и неудержимо увлекает в зияющую пустоту. Я сознаю себя беспомощным и даже не пытаюсь сопротивляться загадочной силе, словно нечто роковое ждет меня впереди. И чем глубже я погружаюсь в необъятную даль, тем унылее становятся перспективы, тем быстрее свет сменяется сумерками, тем решительнее потухает вселенская жизнь под игом всеобщего омертвения.

Серое небо, серая даль, наполненная скитающимися серыми призраками. В сереющем окрест болоте кишат и клубятся серые гады; в сером воздухе беззвучно реют серые птицы; даже дорога словно серым пеплом усыпана. Сердце мучительно надрывается под гнетом загадочной, неизмеримой тоски.

Удручают серые тоны, но еще более удручает безмолвие. Ни звука, ни шороха, ничего, кроме печати погибели. И чем больше я углубляюсь в это оголтелое царство, тем более всем существом овладевает оторопь и сознание оступелой безнадежности, в которой все кругом застыло и онемело. Ощущение оскудения постепенно заползает во все существо, и я начинаю чувствовать, что недалек тот момент, когда и внутри меня все омертвеет.

Но вот я и у цели: передо мною кладбище. Точно взволнованное море, раскинулось оно на необозримое пространство вдаль и вширь, усеянное бесчисленными могильными насыпями. Заброшенность и одичалость везде наложили здесь печать свою. Храм, когда-то осенявший мертвецов, стоит полуразрушенный, с раскрытым куполом, давая

Неоконченное. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru приют нетопырям и ночным птицам. Колокол, некогда призывавший живых и оплакивавший мертвых, лежит разбитый у подножия храма; надмогильные памятники, ограды – все повалилось и лежит разбросанное, заросшее мхом и бурьяном.

Кажется, сам ветхий Адам сложил здесь свои кости. За ним последовали поколения за поколениями и наслались одно над другим, пока наконец земная утроба не насытилась мертвецами.

АВТОБИОГРАФИИ

I

ЗАПИСКА 1858 г.

Михаил Евграфович Салтыков родился 15 января 1826 г. Тверской губ<ернии>, Калязинского уезда, в имении отца своего, селе Спасском. Образование получил в Императ<орском> Царкосельском (впоследствии Александровском) Лицее, где и кончил курс в 1844 г. (XIII курса). Но прежде того, с 1836 по 1838 г. воспитывался в Московском Дворянском институте (прежде бывший Университетский пансион), откуда и переведен в Лицей за отличие в науках. Начал писать еще в Лицее, где за страсть свою к стихотворству претерпевал многие гонения, так что должен был укрывать свои стихотворные детища в сапоге, дабы не подвергнуть их хищничеству господ воспитателей, не имевших большого сочувствия к словесным упражнениям. В то время Лицей был еще полон славой знаменитого воспитанника его, Пушкина, и потому в каждом почти курсе находился воспитанник, который мечтал сделаться наследником великого поэта. Первое напечатанное стихотворение было: «Лира» («Библиотека» для чтения» 1840 г.); потом несколько стихотворений было напечатано в «Современнике» 1843 и 1844 годов. Прозаические сочинения были печатаемы в «Отечественных» записках» 1847, с 1848 г., где в это же время, а равно и в «Современнике», было напечатано несколько рецензий Салтыкова. С 1848 по 1856 – в литературной деятельности перерыв. Служил с 1844 по 1848 г. в Канцел<ярии> Военного м<инистерст>ва; с 1848 по 1856 – в Вятской губ<ернии> в качестве чин<овника> ос<обых> пор<учений> при губ<ернаторе> и советника Губ<ернского> п<равлен>ия; с 1856 г. чин<овником> ос<обых> пор<учений> при М<инист>ре вн<утренних> д<ел>. Критические статьи о «Губ<ернских> очерках» были помещены: в «Современнике» и в «Отечественных» записках»; больше не знаю. В 1857 г. вышло два издания «Губ<ернских> очерков»; первое разошлось в течение одного месяца. Для характеристики взгляда писателя можно указать на след<ующие> очерки: «Скука», «Неумелые» (конец), «Озорники» и «Дорога».

М. Салтыков

II

ЗАПИСКА 1874 г.

Михаил Евграфов Салтыков родился 15 января 1826 года, воспитывался в Императорском Царкосельском Лицее, откуда вышел в 1844 году. Начал службу в Канцелярии военного министра, продолжал в Вятском Губ<ернском> п<равле>нии с апреля 1848 года, возвратился в Петербург в январе 1856 г. Первая повесть в «Отечественных» записках» 1847 г., № 11 – «Противоречия».

Умер ().

III

ЗАПИСКА 1878 г.

М. Е. Салтыков родился 15 января 1826 года в селе Спас-Угол Калязинского уезда Тверской губернии. Родители его были довольно богатые местные помещики. Учиться грамоте Салтыков начал семи лет, а именно в день своего рождения – 15 января 1833 года. Первым учителем его был крепостной человек, живописец Павел, который, с «указкой» в руках, заставлял его «твердить» азбуку. Затем, в 1834 году, вышла из Московского Екатерининского института старшая сестра его Надежда Евграфовна, и дальнейшее обучение Салтыкова было вверено ей и ее товарке по институту, Авдотье Петровне Василевской, поступившей в дом в качестве гувернантки. Кроме того, в образовании Салтыкова принимали участие: священник села Заозерья, Иван Васильевич, который обучал латинскому языку по грамматике Кошанского, и студент Троицкой духовной академии, Матвей Петрович Салмин, который два года сряду приглашался во время летних вакаций. Вообще нельзя сказать, чтоб воспитание было блестящее, тем не менее в августе 1836 года, то есть десяти лет, Салтыков был настолько подготовлен, что поступил в шестиклассный, в то время, Московский Дворянский институт (только что преобразованный из университетского пансиона), в третий класс, где и пробыл два года, но не по причине неуспеха в науках, а по малолетству.

Через два года, в 1838 году, Салтыков был переведен в Императорский Царскосельский лицей, в силу привилегии, которою пользовался Московский Дворянский институт отправлять каждые полтора года двоих отличнейших учеников в Лицей, где они и поступали на казенное содержание (в числе отправленных таким образом был и нынешний министр народного просвещения гр. Д. А. Толстой). В Лицее Салтыков, уже в 1-м классе, почувствовал решительное влечение к литературе, что и выразилось усиленною стихотворною деятельностью. За это, а равным образом за чтение книг, он терпел всевозможные преследования как со стороны гувернеров, так и, в особенности, со стороны учителя русского языка Гроздова. Он вынужден был прятать свои стихи (большею частью любовного содержания) в рукав куртки и даже в сапоги, но их и там находили. Это повлияло на ежемесячные отметки «из поведения», и Салтыков в течение всего времени пребывания в Лицее едва ли получал отметку свыше 9-ти (полный балл был 12), разве только в последние месяцы перед выпуском, когда сплошь всем ставился полный балл, но и тут, вероятно, не долго, потому что в аттестате, выданном Салтыкову, значится: при довольно хорошем поведении, что прямо означает, что сложный балл его в поведении, за последние два года, был ниже 8-ми. И все это началось со стихов, к которым впоследствии присоединились: «грубости», расстегнутые пуговицы в куртке или мундире, ношение треуголки с поля, а не по форме (что, кстати, было необыкновенно трудно и составляло целую науку), курение табаку и прочие школьные преступления.

Начиная с 2-го класса в Лицее дозволялось воспитанникам выписывать на свой счет журналы. Выписывались только что возникшие в то время «Отечественные записки», «Библиотека для чтения» (Сенковского), «Сын отечества» (Полевого), «Маяк» (Бурачка) и «Revue Etrangère». Влияние литературы было в Лицее очень сильно: воспоминание о Пушкине обязывало; в каждом курсе предполагался продолжатель Пушкина; в XI-м – Влад-имир Раф-аилович Зотов, который, так сказать, походя сочинял стихи и помещал их в «Маяке», где Бурачек не в шутку провозгласил его вторым Пушкиным; в XII-м – Н. П. Семенов (ныне сенатор), в XIII-м – Салтыков, в XIV-м – В. П. Гаевский и т. д. Журналы читались с жадностью, но в особенности сильно было влияние «Отечественных записок», и в них критики Белинского и повести Панаева, Кудрявцева и Герцена и друг. Первые стихи Салтыков напечатал в «Библиотеке для чтения», помнится, в 1840 году. Потом, до 1843 года, не печатал, а в 1843 и 1844 году поместил довольно много стихотворений в «Современнике» Плетнева. В 1844 году Салтыков вышел из Лицея, тогда переименованного уже в Александровский, с чином X класса, то есть не в числе отличных.

С выходом из Лицея и до настоящего времени Салтыков ни одного стиха не написал.

В том же 1844 году Салтыков поступил на службу в Канцелярию военного министерства, когда министром был кн. Чернышев. В ноябре 1847 года была напечатана в «Отечественных записках» первая прозаическая вещь Салтыкова «Противоречия»; затем в марте 1848 года – рассказ «Запутанное дело». Обе эти вещи возбудили внимание существовавшего тогда негласного Комитета, который, так сказать, ревизовал литературу по случаю февральской революции. О Салтыкове было сообщено кн. Чернышеву, и по докладу последнего состоялось Высочайшее повеление, в силу которого Салтыков был выслан, в сопровождении жандарма, на службу в гор. Вятку, в распоряжение тамошнего губернатора. Здесь Салтыков прожил до ноября 1855 года, служа сначала в штате Губернского правления, потом чиновником особых поручений при губернаторе и, наконец, советником Губернского правления. После того был переведен на службу в Петербург и служил до июля 1868 года.

Литературная деятельность Салтыкова возобновилась в 1856 году, когда началось в «Русском вестнике» печатание «Губернских очерков». Но, начиная с 1860 года, он почти исключительно печатал свои сочинения сначала в «Современнике» и потом в «Отечественных записках».

Сочинения Салтыкова изданы им в разное время в 12 томах, а именно:

«Губернские очерки» – 2 тома,

«Сатиры в прозе» – 1 том,

«Невинные рассказы» – 1 том,

Неоконченное. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru

- «История одного города» – 1 том,
- «Признаки времени» и «Письма из провинции» – 1 том,
- «Господа ташкентцы» – 1 том,
- «Дневник провинциала в Петербурге» – 1 том,
- «Помпадурсы и помпадурши» – 1 том,
- «Благонамеренные речи» – 2 тома,
- «В среде умеренности» – 1 том.

IV

ЗАПИСКА 1887 г. <? >

15-го января 1826 года у коллежского советника Евграфа Васильевича и жены его Ольги Михайловны Салтыковых родился сын Михаил. Принимала бабка повитушка Ульяна Ивановна, калязинская мещанка. Крестил священник села Спас-Угол Иван Яковлев Новоселов; восприемниками были: угличский мещанин Дмитрий Михайлов Курбатов и девица Мария Василиевна Салтыкова. При крещении Курбатов пророчествовал: «Сей младенец будет разгонщик женский».

V

АВТОБИОГРАФИЧЕСКОЕ ПИСЬМО С. А. ВЕНГЕРОВУ 1887 г.
28 апреля <1887 г. Петербург>

Милостивый Государь

Семен Афанасьевич.

На предложенные вопросы имею честь ответить:

- 1) Имя и отчество: Михаил Евграфович.
- 2) Родился 15 января 1826 года.
- 3) В селе Спас-Угол Калязинского уезда Тверской губернии.
- 4) Родители: коллежский советник Евграф Васильевич Салтыков и Ольга Михайловна Салтыкова, рожденная Забелина.
- 5) Вероисповедания православного. Русский.
- 6) Род мой старинный, но историей его я никогда не занимался. В Калязинском уезде с незапамятных времен существует имение (село Спас-Угол с деревнями), которое и поныне находится во владении детей моего старшего брата.
- 7) Воспитание до 10 лет я получил домашнее. Грамоте меня обучил крепостной человек, когда мне было 6 лет. Потом учил меня священник соседнего села Зайцева (между прочим, и главнейше по-латыни) и старшая сестра. Десяти лет я поступил в Московский Дворянский институт в 3-й класс (институт был шестиклассный), затем, 12 лет, в 1838 году переведен в числе привилегированных в Императорский Царскосельский Лицей, откуда и выпущен в 1844 г. X классом. Лицей уже был в Петербурге и переименован в Александровский. Уже с первых классов любил читать, а начиная с 1839 года пристрастился совсем. Преимущественно влияли на меня «Отечественные записки» и Белинский.
- 8) Начала моей деятельности не припомню. Кажется, в 1842 году было напечатано в «Библиотеке» для чтения мое первое стихотворение «Лира», очень глупое. Затем я печатал, будучи на скамье лицейской, стихи в «Современнике» Плетнева. По выходе из Лицея я не написал ни одного стиха и начал заниматься писанием рецензий. Работу эту я доставал через Валериана Майкова и Владимира Милютина в «Отечественных записках» Краевского и в «Современнике» (Некрасова с 1847 г.). Первую повесть «Недоразумение» под псевдонимом Непанов я напечатал в ноябрьской книжке «Отечественных записок» 1847 г. Помнится, Белинский назвал ее бредом младенческой души.

9) По выходе из Лицея я находился на обязательной службе в Военном м<инистерст>ве (Канцелярия м<инист>ра); в 1848 году, в апреле, по поводу повести «Запутанное дело» («Отеч<ественные> зап<иски>» 1848 г., март) выслан в г. Вятку на службу. Там был сначала писцом Губ<ернского> правления, потом чиновн<иком> ос<обых> пор<учений> при губернаторе и наконец советником. В 1855 г. в ноябре освобожден из Вятки и служил по 1862 год в М<инистерст>ве вн<утренних> дел сначала чиновн<иком> ос<обых> пор<учений> при министре, потом в Рязани и Твери вице-губернатором. В 1862 г. вышел в отставку и в течение 1863–1864 годов был соредактором в «Современнике» вместе с гг. Антоновичем и Пыпиным. В конце 1864 г. опять поступил на службу и был управл<яющим> Казен<ной> палатой в Пензе, Туле и Рязани. С 1868 года был редактором «Отеч<ественных> зап<исок>» по 1883 год.

10) Все написанное мною напечатано в отдельных изданиях, кроме «Мелочей жизни», которые выйдут осенью. Сверх того, я и еще много писал, но совершенно забыл и не считаю нужным возобновлять в памяти читателей.

11) Перечня отзывов и рецензий составить не могу.

12) На иностранные языки были переведены «Губ<ернские> оч<ерки>» (нем<ецкий> и англ<ийский>), «Помпадуры», некоторые сказки и «За рубежом» (по-франц<узски>). Более не знаю.

13) Биографических сведений обо мне указать не могу.

М. Салтыков

VI

Я родился 15 января 1826 г. Тверской губернии, Калязинском уезде, в селе Спас-Угол. Десяти лет поступил в Московский Дворянский институт, а оттуда в 1838 году был переведен в Царскосельский лицей. Там я начал писать стихи, за которые был часто наказываем; там же начал и печатать их. Сколько помнится, первое мое напечатанное стихотворение «Лира» было помещено в «Библиотеке для чтения» 1841 или 42-го года; затем я печатал стихи в «Современнике» Плетнева. После выхода из Лицея (в 1844 г.) стихов больше не писал. Затем служил и писал, писал и служил вплоть до 1848 года, когда был сослан на службу в Вятку за повесть «Запутанное дело». Прожил там почти 8 лет и служил, но не писал. В 1856 г. возобновил литературную деятельность «Губернскими очерками» и вплоть до 1868 писал и служил, служил и писал. В 1868 году совсем оставил службу и исключительно отдался литературе. Написал 22 названия книг. В настоящее время, одержимый жестоким недугом, ожидаю смерти.

21 сентября 1887 г.

М. Салтыков

VII

«ОПРАВДАТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА» 1888 или 1889 г.
фрагмент

Я никогда не мог похвалиться ни хорошим здоровьем, ни физической силою, но с 1875 года не проходило почти ни одного дня, в который я мог бы сказать, что чувствую себя изрядно. Постоянные болезненные припадки и мучительная восприимчивость, с которою я всегда относился к современности, положили начало тому злему недугу, с которым я сойду в могилу.

Не могу также пройти молчалием и непрерывного труда: могу сказать смело, что до последних минут вся моя жизнь прошла в труде, и только когда мне становилось уж очень тяжело, я бросал перо и впадал в мучительное забытие.

Наконец, закрытие «Отечественных записок» и болезнь сына окончательно сломили меня. Недуг охватил меня со всех сторон а сделался главным фактором моей жизни...

ДЕТИ

Сердце мое невольно сжимается всякий раз, как я вижу детей. Я, впрочем, не стану пускаться по этому поводу в отвлеченности. Не скажу, например, что отношусь тревожно к детскому вопросу, потому что разрешение его неразрывно связано с благополучием или злосчастьем страны что последняя может или преисполниться

Неоконченное. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
мраком, или озариться светом, смотря по тому, с какими задатками явятся на арену деятельности молодые, непрестанно нарождающиеся из недр человечества отпрыски, в которых [история научила нас] мы с школьной скамьи научились провидеть устроителей грядущих [человеческих] исторических судеб.

я [хорошо] знаю, что [подобные] ссылки на будущее, как и всякие другого рода обобщения, считаются в наше [оголтелое] время пустопорожними фразами и не внушают [к себе] никакого доверия. И потому говорю без околичностей: не ради будущих исторических судеб сжимается мое сердце при виде детей, а ради них самих.

Я долго верил в живоносную силу отвлечений и обобщений и глубоко [и горячо] был убежден, что только с помощью их человеческая жизнь может получить прочные и правильные устои. Формулированию этой мысли была посвящена лучшая часть моей жизненной деятельности, всего моего существа. Не погрязайте исключительно в подробностях настоящего, говорил и писал я, [но] воспитывайте в себе идеалы будущего, ибо это своего рода солнечные лучи, без [согревающего] оживотворяющего действия которых земной шар обратился бы в камень. Не давайте [же] окаменеть и человеческим сердцам, вглядывайтесь часто и пристально в [те] светящиеся точки, которые [хранят] таят в себе [идеалы] перспективы будущего. Эти [идеалы] точки только недалезорким умам [представляются] кажутся беспочвенными и оторванными от жизни; в сущности, они представляют собой результат всего лучшего и человеческого, что [накопилось] скопилось в прошлом и вырабатывается в настоящем. Это то же самое прошлое, то же самое настоящее, [но] только отрешенное от злых и темных сторон, на которые указывает просветленная человеческая мысль.

Уветы мои были голосом, вопиющим в пустыне. Странное что-то творится в человеческом обществе. Иногда мне [казалось] кажется, что оно вступает на стезю верований, и сердце мое [оживлялось] оживляется. Но увь! Это [было] лишь кратковременное марево, которое немедленно же сменяется [сменялось] самую суровую и [бессодержательную] обнаженную действительностью. Злоба дня всецело [овладевала] овладевает умами; общество [погружалось] погружается в безрассветную и бессодержательную суматоху; верования и убеждения [исчезали] исчезают бесследно, [мрак одолевал] мрак сгущается и как бы бессрочно одолевает робкие лучи света, которые на минуту [согрели] озарили жизнь. И чем дольше я живу, тем больше убеждаюсь, что общество еще долго не будет [тем пламенем] относиться к своим грядущим судьбам с тою страстностью, с той жаждой провиденья, которые одни могут спасти его.

Если дать веру общепризнанному мнению, то нет возраста более счастливого, нежели детский. Детство беспечно и не смущается тревогой о будущем. Ежели у него есть горе, то это горе детское; слезы – тоже детские; тревоги – мимолетные, которые даже сформулировать с полной ясностью невозможно. Посмотрите, как дети беззаботно и весело резвятся, всецело погруженные в свои [настоящие] насущные радости, и даже не подозревая, что в окружающем их мире гнездится какое-то злое начало, которое подтачивает и отравляет миллионы существований. Их жизнь течет, свободная и спокойная., в одних и тех же рамках, сегодня, как вчера, завтра, как сегодня, но самое однообразие этих рамок не утомляет, потому что это рамки, наполненные радостью. Все действия детей свидетельствуют о том невозмутимом душевном равновесии, благодаря которому они мгновенно забывают чуть заметные горести, встречающиеся на их пути. Нужно только следить, чтоб развитие детей шло правильно; нужно оградить их от материальных опасностей и тех зачатков нравственных увлечений, которые могут повредить в будущем. Следует только устроить это настолько искусно, чтоб они не почувствовали, что над ними тяготеет какая-то ферула, – в этом состоит главная и существенная задача разумной педагогики. Последняя сумеет довести до надлежащей мягкости эти восковые сердца и дать им то именно направление, которое обеспечит за ними счастье целой жизни.

Я сам долгое время держался этих ходячих взглядов на детство. Беспечно резвиться, пребывать в неведении зла, ничего не провидеть даже в собственном будущем, без думы всем существом отдаваться наслаждению настоящей минутой – можно ли предстать себе более завидный удел? О дети, дети! Скажут им: нужно любить папеньку с маменькой – они любят; прикинут сюда тетенок, дяденок, сестриц, братцев, даже всех православных христиан – они и их помянут в молитвах своих. Потом: можно резвиться, но не шуметь, за обедом следует сидеть прямо, не вмешиваясь в разговоры старших и тем более не перебивать их. Всякий родитель, даже самый заурядный, может внедрить эти элементарные правила жизни в восприимчивое детское сердце, и всякое детское сердце благодарно, без малейших

Неоконченное. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru усилий понесется навстречу этим правилам. А затем вступит в свои права и заправская педагогика. Она предложит правила несколько более сложные, но тоже немудреные. Нужно почитать старших, избегать сообщества неблаговоспитанных детей, вести себя скромно, резвиться, но не увлекаться и т. д. И эти правила усвоятся без труда и не нарушат равновесия детской души...

Истинная отравка жизни приходит только вместе с сомнениями. Как? Почему? За что? – вот вопросы, которые делают человека тревожным и несчастливым. Благодаря им он получает понятие о несправедливостях и тяготах жизни; сердце его перестает быть вместилищем ликований и преисполняется унынием. Человек начинает сравнивать, анализировать не только собственные действия, но и поступки посторонних людей. Горе глубокое, неизбывное западает в его душу, за горем следует ропот, а отсюда один шаг до озлобления. Ничего подобного не испытывают незлобивые, ликующие детские души. И верования, и сомнения равно чужды им, а следовательно, чуждо и настоящее жгучее горе. Недаром умные педагоги прилагают все усилия, чтобы продлить период детского возраста. Они знают, что только в продолжение его человек наслаждается беспримесным счастьем. Счастливые, счастливые дети!

Но чем больше углублялся я в детский вопрос, чем больше старался уяснить себе сущность его, тем больше и больше раскрывалась передо мной фальшь ходячих мнений по этому предмету. Прежде всего внимание мое невольно остановил вопрос: если злосчастье в таком изобилии разлито на земле и так цепко хватается за все живущее, то почему же одним детям предоставлена привилегия составлять в этом смысле исключение? И чем пристальнее вглядывался я в окружающую среду, тем более убеждался, что не все дети резвятся (и, главное, не все одинаково резвятся), не все беспечны, что существует целая масса детей забытых, приниженных и оброшенных с самых пеленок. Одним словом, для меня стало ясно, что злосчастье в той или иной форме одинаково доступно и зрелому и детскому возрастам человеческого существования.

Скажу более: при помощи ряда логических выводов мысль не остановилась на идее равенства всех перед злосчастьем, но пошла дальше. И как ни парадоксален покажется результат моих размышлений, но я не сомневаясь могу утверждать, что из всех жребиев, выпавших на долю живых существ, нет жребия злосчастнее того, который достался на долю детей.

В основе этого вывода лежат те же признаки, на которых зиждется и общепризнанное мнение об обязательности детского счастья. Что преобладающим характером детства является резвость – с этим, конечно, нельзя в принципе не согласиться (хотя, как я уже упомянул, и в этом случае встречается масса исключений), но ведь резвость вовсе не говорит ни в пользу детского счастья, ни против него и просто составляет потребность движения, свойственную молодому и ненадломленному организму. Насколько странно предстать себе резвящимся угрюмого и придавленного жизнью старика, настолько же странно, почти противоестественно и противоположное предположение. Живость движений есть явление чисто физического порядка, которое не имеет ни малейшего влияния на будущее и которое, следовательно, можно совершенно свободно исключить из счета привилегированных свойств, делающих завидным детский удел.

ВАЛЕНТИН БУРМАКИН

Это была чистая, высоконравственная, почти непорочная личность. Он принадлежал к числу тех беззаветных идеалистов, благодаря которым во тьме сороковых годов просиял луч света и заставил волноваться отзывчивые сердца. Впервые почувствовалось, что доброе и вечное не до конца изгибло, что образ человеческий, даже искаженный, все-таки не перестает быть человеческим образом. Разумеется, движение это сосредоточивалось исключительно в литературе да в стенах университетов; разумеется, оно высказывалось случайно, урывками, но случайность эта пробивалась в такой всеоружий страстности и убежденности, что неизбежно должна была оставить по себе горячий след. Светоч горел одиноко, но настолько ярко, что впоследствии, когда дальнейшее горение было признано неудобным, потребовались немалые усилия, чтоб потушить его. Да и эти усилия имели сомнительный успех, потому что не дальше как через десять – двенадцать лет светоч опять вспыхнул и на этот раз [так решительно, что] осветил совсем новые перспективы.

Это происходило в самом начале сороковых годов. Бурмакин был ученик Грановского и великий почитатель Белинского. Не будучи учеными в прямом смысле этого слова, оба проповедовали живое слово, оба будили общественную совесть, оба в высшей

Неоконченное. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru мере обладали даром жечь глаголом сердца. Для того времени именно такая проповедь и была нужна. На зов ее откликнулись Тургенев, Некрасов, Достоевский, Кавелин, Кудрявцев и много других, менее ярких, но столь же искренних литературных деятелей. При звуках ее трепетала безвестная масса молодых людей и сеяла горячее слово добра, истины, любви. Сеяла на свой риск и страх, выделяя из среды своей бодрых людей, которых не останавливала ни подозрительность, встречавшая их проповеднический подвиг, ни пучина безвестности, в которой этому подвигу предстояло утонуть.

Валентин Осипыч еще в университете примкнул к этому кружку страстных и убежденных людей и искренно привязался к нему. Он много читал и изредка даже писал, хотя выдающимся талантом не обладал. Это был отличнейший второстепенный деятель и преданнейший друг. Так понимали его и члены кружка, которые глубоко ценили его честные убеждения. В нашем захоластье ему нечего было делать, но бессознательная привычка и воспоминания детских лет неудержимо влекли его в родные места. Быть может, к этому примешались еще толки о народе и народности, которые тогда были в полном ходу, а может быть, его на первых же порах заинтересовала крепостная практика, под игмом которой задыхался народ и которая со всех сторон обступила его самого.

Героем он, конечно, не мог назвать себя. Будучи ярым противником крепостного права, он не отказывался от пользования им. Правда, что он старался как-нибудь притулиться к сторонке, ни в какие распоряжения не входил, судьбища не производил и т. д. Но это немало не устранило двоегласия, которое, так сказать, перерезывало его жизнь на две половины. Одна была отдана Ариману, другая – Ормузду. Только чтение книжек помогало забыть об этом двоегласии, да еще сознание, что не он один, а все так живут, и Грановский, и Тургенев, и Кавелин – все помещики, все слуги одного и того же крепостного права.

Единоличные жертвы нележки. Даже отъявленные враги известного порядка вещей, вполне искренно проповедующие отмену привилегий, с ним сопряженных, требуют этой отмены для всех, а не исключительно для той или другой отдельной личности. С установившимися порядками связан весь жизненный обиход, с его привычками, с известной степенью довольства, с возможностью пользоваться досугом и проч. Кто тот герой, который откажется от всех этих благ, возьмет в руки посох и пойдет в поте лица снискивать хлеб свой? Ежели и между людьми высокодаровитыми таких героев днем с огнем поискать, то человеку среднему, богатому не талантами, а только стремлением и сочувствием, и бог недостаток героизма простит.

Двоегласие приводило за собой недостаток устойчивости. Бурмакин увлекался, но увлечения его требовали руководства. При том же, не имея под собой реальной почвы, они были устремлены исключительно к отвлеченностям. Истина, красота, добро – вот цели, к которым тяготели лучшие люди того времени, и за отсутствием жизненных интересов искали осуществления их в искусстве. Жизнь представляла собой низменность, искусство – святыню, то есть совсем наоборот тому, что требовала настоятельная злоба дня. Так называемая «польза» тоже была отодвинута в разряд низменности. Музыка, литература, театр – вот что стояло на первом плане и служило предметом страстных споров. Всем памятны споры о Мочалове, Каратыгине, Щепкине, Сосницком, каждый жест которых порождал целую массу горячих комментариев. Этого мало: даже в балете усматривали глашатая добра, истины и красоты. Имена Санковской и Геринò раздавались во всех кофейных, на всех дружеских беседах. Это были не просто танцовщик и танцовщица, а пластические носители какого-то глубокого слова, заставлявшие по произволению радоваться или скорбеть.

Одним из любимейших выражений того времени было «святая простота». В нем заключалось нечто непререкаемое, и при произнесении его оставалось только преклониться. Но употребляли его без разбора и потому нередко смешивали с глупостью, грубостью и невежеством. Это уж было заблуждение, которое грозило последствиями очень сомнительного свойства. А ежели при этом вспомнить, что рядом с этими второстепенными формулами существовала еще одна, гласившая, что существующее уже по тому одному разумно, что оно существует, то представлялось возможным дойти до таких оправданий и примирений, откуда недалеко и до совершенной путаницы понятий.

[Я охотно допускаю, что в то горячее и страстное время самые оправдания не носили изменнического характера, но ведь и самое лучшее время чревато будущим, а будущее, подготовленное всякого рода сделками, поклонениями, уже готовило

Неоконченное. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
исподтишка предателей.]

Крестьянство задыхалось под игом рабства – зато оно было *sancta simplicitas*; чиновничество погрязло в взяточничестве, но и это было своего рода *sancta simplicitas*; невежество, мрак, распущенность нравов, жестокость господствовали всюду, но они представляли собою не ответственное что-либо, а одну из форм *sancta simplicitas*. Положим, что ради этих разнообразных форм простоты тяжело было жить, но поводов для привлечения к ответственности не существовало. [Сложилась формула: существующее разумно уже по тому одному, что оно существует, но забывалась другая формула: все идет к лучшему в наилучшем из миров. Пользовались излюбленной формулой искренно, не подозревая, что в ней кроются семена измены.] Даже толки о народе и народности, о которых я упомянул выше, носили трансцендентальный характер. Накроили формул, из которых одни относились к народу горячо и сочувственно, а другие были просто-напросто гнусны, – и спорили. В диалектике, в умении поставить вопрос заключалось все дело, а так как всякий заранее считал его решенным в свою пользу, то и в печати особенно явственных результатов не оказывалось.

Непреклонные идеалисты довольствовались тем, что у них бывали сладкие минуты в жизни. Мысли горели, сердца учащенно бились, все существо до краев наполнялось блаженством. Спасибо и за это. Бывают сермяжные эпохи, когда душа жаждет, чтоб хоть шепотом кто-нибудь произнес *sursum corda*, – и не дождетя, а тогда, по крайней мере, хоть в этом напоминании недостатка не было. Могла ли удовлетвориться жизнь одним этим голословным напоминанием – это иной вопрос, но для отдельных личностей оно представляло питание вполне достаточное и исчерпывало всю жизнедеятельность.

Итак, Бурмакин заперся в родном гнезде и нимало не роптал на свое одиночество. Он много читал, вел деятельную переписку с друзьями и терпеливо выжидал тех двух-трех месяцев, в которые положил переезжать на житье в Москву. Хотел было перевести крестьян с барщины на оброк, но при первом отпоре со стороны старого Власа, доказывавшего невыгодность этого предприятия, не выстоял и махнул на все рукой.

ПЕРХУНОВ И МЕТАЛЬНИКОВ

Первый был либерал, второй – консерватор. Разумеется, применительно к понятиям того времени. Кличек этих, впрочем, [еще] не существовало, потому что время было [уж очень] простое. Об общественном мнении и в помине не было, а тем менее о какой-либо сословной или партийной розни. Тем не менее, хотя все вообще жили попросту, как бог велит, тяготая к одному и тому же центру тяжести и питаясь соками одной и той же почвы крепостничества. Но там и сям в общей массе все-таки выделялись, с одной стороны, такие личности, которые шумаркали, фордыбачили и зубоскалили, а с другой – такие, которые, упершись лбом в стену, «делали свое дело». Первых собратья не одобряли и отчасти побаивались, а власть имущие – от времени до времени грозили им указательным перстом и делали внушения. [Их-то я и называю либералами.] Вторых и собратья и начальство считали людьми солидными.

И простое было время, да и темное. Не только в захолустья ничто ниоткуда не проникало, да и повыше зги было не видать. Правительственным распоряжениям было присвоено наименование канцелярской тайны, и сведения об них появлялись в газетах в виде известий о целодневном звоне с Ивановской и иных колоколен; самое правительство называлось начальством. Предполагалось, что у всех своего дела по горло и что вне этого, так сказать, профессионального дела никаких других жизненных интересов не существует. Был, впрочем, один интерес – это периодически возобновлявшиеся ожидания рекрутских наборов. Всякую осень вопрос этот волновал и помещичью и крестьянскую среду, в особенности в те годы, когда на небе появлялась комета или иное знамение в этом роде. Будет ли манифест и по сколько с тысячи? – тревожно спрашивали себя обыватели, но до самой минуты опубликования манифеста все-таки ничего угадать не могли.

Естественно, что ежели при таких условиях и возможна была «критика», то она суждена была замыкаться в самом ограниченном кругу. Не правительственные действия служили предметом ее, а частные распоряжения местных чиновников, которые зависели от выборов и, стало быть, поневоле вынуждены бывали выслушивать всякого рода злословие. Собственно говоря, это и было именно только злословие, шутовство, подчас назойливое и почти всегда далеко не умное. Тем не менее даже такого рода «критике» люди основательные и солидные (по-нынешнему «консерваторы») не могли дать отпора, потому что они и сами не чувствовали под

Неоконченное. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru собой реальной почвы, а жили [и действовали], «как все прочие живут». Следовательно, и у них не было ничего такого, что напоминало бы о личной инициативе и внушало бы потребность отстаивать и оберегать. Словом сказать, ни критиканы, ни солидные люди не могли достоверным образом объяснить, почему такие-то действия представляются основательными и целесообразными, а такие-то – легкомысленными и вредными. И почему вся эта разношерстная масса канцелярского многописания, которая загромождала тогдашние присутственные места, носила наименование рапортов, предписаний, отношений и проч., а не представлялась случайной пробой пера, какую она была на деле.

И Перхунов (Григорий Александрыч) и Метальников (Тарас Егорыч) принадлежали к числу небогатых помещиков. У первого считалось в Слободенском около сотни душ; усадьба второго, приблизительно таких же размеров, отстояла верстах в шести от перхуновской, но владелец редко наезжал в нее, так как, по должности исправника, почти постоянно жил в городе.

БРАТЯ УРВАНЦОВЫ

Старик Захар Антоныч Урванцов не принадлежал к числу аборигенов нашего захолустья. Он приехал откуда-то издалека, женился на одной из небогатых помещиц Прасковье Федоровне Улыбиной, кроткими мерами перевел на свое имя ее имение и затем, проводив жену на погост, барином зажил в собственной усадьбе, сельце Вялицине.

Это был человек озорной в полном смысле этого слова. В старину, по захолустьям, такие типы встречались довольно часто. И умственные и общественные интересы отсутствовали; домашний обиход сам собою сложился в таких рамках, что почти не требовал личного вмешательства; бесконечная праздность плыла и охватывала со всех сторон, не допуская внедриться даже самым тощим зачаткам внутреннего содержания, которое могло бы осмыслить жизнь. При таких условиях для природы мало-мальски подвижной оставалось одно убежище: растрчивать душевные силы по мелочам, на всякого рода низменные затеи, которыми так тороваты невежество и умственная неразвитость.

Проказливость старого Урванцова была до того назойлива, что даже наше неприхотливое захолустье невзлюбило его. Одинокое прозябал он в своей берлоге, почти не принимая участия в общем раздолье, которому предавались по зимам соседи. Отчуждение это, впрочем, не особенно огорчало бы его – он и дома находил достаточно пищи для озорства, если б недостаточность материальных средств не напоминала, что общение с людьми составляет одно из тех неизбежных жизненных условий, ввиду которых должна смириться самая беззаветная озорливость. Прежде всего, как ни мало требователен был Урванцов, но и у него, как у прочих, сложились известные прихоти и привычки, на удовлетворение которых требовались деньги, а крохотное имение (всего с небольшим пятьдесят душ), безалаберно управляемое, давало их мало. Хорошее подспорье в этом смысле могла бы доставить служба по выборам, но его никуда не выбирали, хотя он каждое трехлетие ездил в губернский город и аккуратно ставил свою кандидатуру на должность исправника.

Приходилось растрчивать душевные силы дома, в безответной среде дворовых и крестьян, которая на то и была создана, чтобы молча выносить всякое издевательство. Но ему и это показалось мало: он перенес свои издевки и на собственную кровную семью. Двоих близнецов-мальчиков, которых оставила ему жена (она умерла родами), он назвал Захарами, потом, когда они пришли в возраст, определил их юнкерами в один и тот же полк и, наконец, умирая, оставил завещание, которым разделил господский дом с таким расчетом, что одному брату достались так называемые парадные комнаты, а другому жилые. Еще оригинальнее поделил он принадлежавшие ему двадцать три крестьянских двора. Один двор назначил одному брату, другой, рядом с первым, – другому и т. д. И в довершение всего о двадцать третьем дворе совсем ничего не упомянул.

Натурально, что сыновья ненавидели отца, а по смерти его, опутанные устроенной им кутерьмой, перенесли эту ненависть и друг на друга. Оба назывались Захарами Захарычами и были на одно лицо; оба вышли в отставку в поручичьем чине и носили один и тот же мундир, оба не могли определить границ своих владений, обоих на каждом шагу смешивали и соседи и домочадцы и перед обоими, в виде неразрешимой и соблазнительной загадки, стоял вопрос о двадцать третьем крестьянском дворе...

И в довершение всего, как это часто бывает между близнецами, оба и в физическом и в духовном смысле представляли как бы один организм, то есть одновременно

Неоконченное. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru испытывали одни и те же ощущения и вообще жили и действовали под влиянием одних и тех же потребностей и побуждений.

Поедет, например, в город один Захар Захарыч – смотрит, ан на половине дороги его обгоняет другой Захар Захарыч, который туда же спешит. Или соберется один брат рыбу в озере ловить, не успеет невод расстелить, как уж и другой брат к тому же берегу с своим неводом катит.

Положение было безвыходное, почти трагическое. Но я не помню, чтобы кто-нибудь из соседей относился к нему серьезно. Никто не называл Урванцова-отца злодеем, доведшим собственных детей до исступления, напротив, все очень добродушно рассказывали смешные анекдоты, матерьялом для которых служила бесконечная семейная ссора, в смешливый час устроенная старым «проказником».

Анекдоты этого рода нередко рассказывались и в нашем доме, особенно когда наезжали соседи.

– Намеднись, сказывают, такая ли перестрелка в Вялицине была, что только люба с два! – сообщал приезжий гость. – Вышли оба брата в березовую рощу грибов собирать. Один с одного конца взялся, другой – с другого; идут наклонившись навстречу друг другу и не замечают. Как вдруг оба выпрямились... Смотрят друг дружке в глаза – он ли, не он ли? – никто не хочет первый дорогу дать. Ну и пошло, и пошло у них тут...

– Нет, вы вот об чем подумайте – каково положение крестьян! – перебивал другой гость. – Намеднись один брат взял да всех крестьян у другого перепорол, а те, дурачье, думают, что их свой барин сечет. А на другой день другой брат у первого крестьян пересек...

– Вот так маскарад!

Или:

– Как встанут с утра, только об том и думают, какую бы пакость родному брату сделать. Услышит один Захар, что брат по хозяйству распоряжение сделал, и только что мужички за работу возьмутся – он придет и отменит. А в это же время другой Захар такую же штуку под брата подводит.

– Один Захар не велит своим мужикам перед братом шапку снимать, и другой Захар тоже... А мужики знай себе снимают, отличить своего барина от чужого не могут. Ну, разумеется, потасовка... Так теперь до того дошло, что мужики-то, как завидят по дороге Захара Захарыча – свой ли, чужой ли, – во все лопатки прочь бегут!

Или, наконец:

– И какую еще потеху старый шут удрал! Взял да в завещании написал: такой-то крестьянский двор сыну моему Захару Урванцову-первому, такой-то – сыну моему Захару Урванцову-второму. А который из них первый, который второй, они и сами не знают. В ту пору сам судья приезжал их делить: «Уладьтесь же, господа, как-нибудь! – говорит. – Ну вы, Захар Захарыч, будьте Урванцовым-первым, а вы, Захар Захарыч, – Урванцовым-вторым. И что же? Не прошло пяти минут, не успел судья отвернуться, ан и сам не знает, которого из них он назвал первым, которого – вторым.

– Ах, черт подери! Однако ж в полку как-нибудь с ними да ладили?

– Так и ладили, что по разным эскадронам определили да в разных концах по уезду расквартировали. Ну да в полку-то строго! Не очень-то озорничать дадут!

И так далее.

Подобно отцу, оба брата жили в Вялицине одиноко, ни с кем не видясь. Явившись по смерти отца на хозяйство, они, по обычаю, объездили соседей, но – факт небывалый в нашем захолустье – последние даже визитов не отдали им. Благодаря этой оброшенности жизнь братьев-врагов исчерпывалась личными встречами да тяжёлыми делами, которые они по всякому поводу вели друг против друга в судах.

Одним словом, это была не жизнь, а в полном смысле мартиролог. Тут все

Неоконченное. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru чудовищно: как самая возможность существования подобной семьи, так и отношение к ней культурного общества того времени. И ежели, в качестве достоверного бытописателя Пошехонской старины, я вынужден занести эти факты в свою летопись, то от дальнейшей разработки их отказываюсь. Сознаюсь откровенно, что такого рода труд был бы слишком для меня мучителен. А кроме того, он представлял бы собой лишенный всякой общечеловеческой почвы ряд примеров умственной и нравственной одичалости, настолько чудовищных в своих подробностях, что в современном читателе они ничего, кроме мучительного чувства, не могли бы пробудить...

В заключение могу прибавить одно: даже при условиях одичалости, выносливость человеческой природы не бесконечно растяжима. Братья не выдержали; прожив в нашем захолустье не больше трех лет, они одновременно из него исчезли, оставив и отческий дом, и имение на произвол случайности.

<КТО НЕ ЕДАЛ С СЛЕЗАМИ ХЛЕБА...>
Кто не едал с слезами хлеба,

Кто слез в ночи не проливал,

Стеня на одр не упал,

Тот

и т. д.

Так гласит Гёте в плохом переводе г. Струговщикова. И действительно, для того чтобы понять, до какой степени настоятельны бывают некоторые нужды, необходимо именно пройти через то безвыходное состояние, которое такими горькими чертами описывает немецкий поэт, а ежели не пройти, то, по крайней мере, видеть его, присутствовать при нем. И тогда предстанет перед глазами со всею ясностью та бесспорная истина, что есть нужды особенные; нужды вопиющие, перед которыми должны ступаться и приникнуть все другие.

Страшно подумать о том убожестве, в котором живет большинство и которому оно, по-видимому, вполне подчинилось. Негодование, которое проникает душу при виде явлений пошлого легковерия, одичалости и отвратительного насилия, непрерывно сочащихся из сердца народных масс, невольно утихает, когда собственными руками прикасаешься к той проказе, которою они заражены, когда собственными легкими вдохнешь в себя струю той затхлой атмосферы, которою они дышат. [5] В человеческом существе есть нечто высшее, нежели сила озлобления и негодования, – в нем есть сила прощения, сила симпатического отношения ко всему, что страдает (причем не сознает даже в миллионной доле всей безвыходности своего положения), ко всему, что живет не живя, то есть не зная светлой стороны жизни, ее радостей, ко всему, что рождается на свет уже заранее заклеянное печатью отвержения, заранее обреченное на безвременное увядание. О! если б массы знали весь ужас той нищеты, которая преследует их от колыбели до могилы, если б они понимали, что в жизни есть нечто такое, что зовется радостью, счастьем, и что право на это нечто есть священнейшее и бесспорнейшее из всех прав человека! Они с ужасом отвернулись бы от самих себя, они убедились бы, что все их прошлое было даже не прозябанием, а просто каким-то чудовищно-бессмысленным служением упитыванию разнообразных чужеядных, со всех сторон густою сетью оцепивших их.

Это симпатическое отношение, которого значительную долю чувствует в себе всякий сколько-нибудь развитый человек, совсем не так непосредственно, как это кажется с первого взгляда. Тут действует не одно инстинктивное сострадание, но и анализ – последний даже по преимуществу. Мы не просто говорим: «ах, какое жалкое, бедное положение!», не просто оплакиваем, но прежде всего вглядываемся в это жалкое положение и стараемся дать себе отчет в причинах его. На первый раз оно кажется совершенно непонятным, и толпа уподобляется большому дураку, который вырос с коломенскую версту и успел только в том, что животные отправления происходят у него, как у взрослого. Как, в самом деле, дойти до такого положения, что при всей очевидности силы, при всем ее обилии, последняя оказывается до того притупленною, до того лишеною всякого содержания, что может быть употреблена только на нелепые шараханья из стороны в сторону? Как снизить до степени бессмысленного орудия, годного только на то, чтобы давить, давить и давить? Действительно, это очень странно, особенно если возьмем в соображение то выгодное положение, в котором стоит толпа относительно материальных средств. И по мере того, как мы будем углубляться в наши наблюдения, перед нами откроется

Неоконченное. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru целый темный мир всякого рода горечей, целая проклятая история непрерывных умственных оглушений. Конечно, все эти общественные неровности, которые ныне поражают нас своею ненормальностью, были в источнике своем до того тонки и незаметны, что даже почти невозможно их проследить, а тем менее указать тот момент, когда они перестали быть добровольными и естественными и образовали собой систему, но ведь это и не нужно совсем для того, чтоб доказать, что в этой системе нет ни справедливости, ни человеколюбия. Нам не нужно знать даже, виноват ли кто в таком положении вещей и почему оно произошло: вследствие ли какой-нибудь проклятой необходимости или просто по случайному капризу судеб. Нам нужно убедиться только в том, что тут действительно была система, что она цепко опутала то, что ей нужно было опутать, и лежит дондесь несмываемым грехом на том, что этому греху совсем не причастно. А для того чтоб убедиться в этом, не требуется ни исторических изысканий, ни особенной склонности к философствованию; тут требуется только известная доза здравого смысла и доверие к собственным своим глазам.

И тогда, ежели к симпатическому нашему чувству и примешается некоторая доля негодования, то негодование это будет иметь в предмете уже отнюдь не толпу, забитую до бессмыслия, робкую до трусости, а нечто иное – предположим, хоть историю...

Этим-то именно и объясняется, что горькое чувство, которое возбуждают некоторые движения толпы, не только не умаляет наших симпатических отношений к ней, но и не поселяет в нас никакого разлада, ни малейшего противоречия с самим собой. Негодуя на толпу, мы все-таки сознаем себя привязанными к ней совсем не таинственными нитями, а нитями совершенно явственными и несокрушимыми. Мы чувствуем, что в ней заключается не только материал для экспериментов, но и основание нашей собственной силы, что без нее (без толпы), без ее внимания и участия мы хуже, нежели слабы, – до нас никому никакого дела нет. В этой зависимости от толпы, конечно, есть много горечи (в самом деле, не горько ли зависеть от чего-то бессмысленного, не имеющего никакого самосознания?), но так как это факт глухой и неизбежный, то не подчиниться ему нет возможности. Есть что-то фаталистическое в том, что мы все заветные светлые думы наши посвящаем именно этой забитой, малосмысленной, подчас жестокой и ничего не стоящей толпе; что самый гениальный мыслитель-реформатор, которого мысль не может, по-видимому, иметь ничего общего с мыслью толпы, лучшую часть своей деятельности отдает толпе; что толпа обседит нас, что она одна только и может, с законным основанием, назваться «властительницей наших дум». Да, тут есть своего рода фатализм, но не в том смысле, в каком обыкновенно клеймят этим словом какое-нибудь положение, которое не умеют или не хотят объяснить, а фатализм, объясняемый тою общечеловеческою основой, которая и составляет соединительное звено между неразвитою толпою и наиболее развитою отдельною человеческою личностью.

История показывает, что те люди, которых мы, не без основания, называем лучшими, всегда с особенною любовью обращались к толпе и что только те политические и общественные акты имели прочность, которые имели в предмете толпу. Это вовсе не значит, что люди эти идентифицировались с толпою, что они принимали ее нередко слепые и неразумные инстинкты за руководящий закон, а значит только, что мысль о толпе (человечестве) как о конечной цели всякого разумного и полезного человеческого действия сообщала их деятельности то живое содержание, которого она не имела бы, если б была исключительно обращена к отвлеченной сфере. Тут, в этом служении толпе, имеется даже очень ясный эгоистический расчет; ибо, как бы мы ни были развиты и обеспечены, мы все-таки до тех пор не получим возможности быть нравственно покойными и мирно наслаждаться нашим развитием и обеспеченностью, покуда все, что нас окружает, не придет хотя в некоторое с нами равновесие относительно материального и духовного развития. Человек нуждается в обществе себе подобных вовсе не по капризу или для развлечения, а потому, что природа его по преимуществу общежительная и, следовательно, стоя на недостижимой для толпы высоте, он тем сильнее почувствует свое одиночество, чем забитее, покорнее и безответнее будет масса, которой чуждается его гордая мысль. И он непременно погиб бы и загрубел в этом жалком уединении, если б, к счастью его, толпа сама на каждом шагу и с достаточною резкостью не напоминала о себе, не указывала на зависимость его положения и таким образом не выводила его из того уединения, на которое он, по нерасчетливости и кичливости своей, обрек себя.

Следовательно, те нужды, которыми страдает толпа, суть нужды общечеловеческие, а потому никто не имеет права не только обходить их, но и не поставить их на

Неоконченное. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru первый план. Это нужды кровные, вопиющие, от неудовлетворения которых страдает общечеловеческое развитие, а стало быть, и наше собственное.

Мудрено представить себе, до какой степени горько влияет на жизнь бедного труженика толпы самое ничтожное обстоятельство; но поэтому-то мы и должны понимать, что для этой жизни нет того самодряннейшего факта, который можно было бы назвать ничтожным. Интересы, по-видимому грошовой, будучи взяты в своей совокупности, составляют такую громадную сумму, под бременем которой положительно погибает член так называемого «несуществующего» у нас пролетариата. Да, «пролетариата» нет, но загляните в наши деревни (даже подстоличные), и вы увидите сплошные массы людей, которые не знают употребления мяса и для которых вопрос о соли составляет предмет мучительных дум; вы найдете тысячи бесприютных бобылок, которых весь годовой доход заключается в каких-нибудь пятнадцати – двадцати рублях, с трудом вырабатываемых мотаньем бумаги. А пролетариата нет. Правда, что эти массы предполагаются грубыми и бесчувственными, но ведь по временам и они чувствуют, особенно когда хочется есть. Нам, людям, живущим отдельно от масс, очень трудно представить себе, что такое значит «хотеть есть», ибо если мы чувствуем голод, то немедленно же и удовлетворяем его; но существуют, действительно существуют люди, которые всегда «хотят есть», ибо никогда порядком желанию этому удовлетворить не могут.

Положение человека, как бы фаталистически осужденного не думать ни о чем ином, как о средствах не умереть с голода, не замерзнуть и вообще «не пропасть как собаке», конечно, заслуживает всего нашего внимания. Это те самые первоначальные, вопиющие нужды, при неудовлетворении которых невозможно развитие никаких иных нужд. А в развитии-то этих «иных» нужд вся и сила. Если человек обеспечен по малой мере от необходимости задумываться о предметах первой необходимости, он непременно пойдет далее, он прикует свою мысль к другим предметам и перенесет свои требования в высшую сферу. Ныне он еще думает о хлебе материальном, завтра будет думать о хлебе духовном, но куда не будет иметь средств обеспечить свободу своего желудка, не предпримет никаких мер к обеспечению свободы своей мысли. Заставить его размышлять об этой последней, привести его к убеждению, что эти две свободы не имеют права существовать, не пополняя друг друга, – вот цель всякой общественной деятельности, сознающей себя разумною.

И опять-таки не о постепенности и не об ненужности идеалов тут идет речь, а о том, чтобы поставить деятельности (той деятельности, которая в данную минуту необходима) реальные границы, о том, чтобы найти исходный пункт, который соответствовал бы насущным нуждам толпы, и из которого можно было бы вести ее далее. Подумайте, милостивые государи! ведь это, право, сюжет недурной, это сюжет, из которого можно выйти к какой угодно высшей цели...

Представляю я себе человека, которому как следует разъясняется, что не наедаться досыта, зябнуть и не в меру напрягать свои мышцы – вовсе не есть необходимый его удел, что тут вовсе нет никакого предопределения, или, как выражается г-жа Падейкова, ничего нет «релегеозного»; представляю я себе этого «человека», и отсюда вижу изумление, даже почти негодование, изображающееся на его лице от подобного разъяснения. Но разъяснение продолжается; за общими положениями следуют указания примеров, сравнения и т. д. (разумеется, еще было бы лучше, если б при этом употреблен был обратный ход мысли, как наиболее вразумительный и гораздо менее пугающий, но, увы! мы и до сих пор не можем еще отстать от вредной привычки начинать с конца, то есть с общих положений!). Черты лица собеседника мало-помалу утрачивают испуганное выражение и принимают выражение разумное... И до тех пор продолжается разъяснение, куда собеседник не поймет. Представляю я себе человека этого, когда он уже понял.

А он не поймет до тех пор, пока не убедится по малой мере в своем праве на еду, ибо достижение этого последнего права составляет ту танталову муку, которая неотступно преследует его день и ночь и не дает ему мыслить. Пусть только он убедится, что право голодать, право не пользоваться ни благами, ни радостями жизни не заключает в себе ничего неприступного, он сразу его устранил сам, даже без посторонней помощи, и затем пойдет уже отыскивать себе иное право. Но в том-то и дело, что нужно, чтоб он убедился.

– Куда, я теперь денусь! куда я денусь-то! – бормотала на днях некоторая баба, сильно размахивая руками и почти бегом бежа по дороге.

Неоконченное. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
Мужа этой бабы раздавило мельничным колесом, и она бежала из дому на мельницу посмотреть, как его раздавило. Покойник был человек зажиточный, имел изрядный дом и на миру был известен как человек ревнивый к общественному делу. По смерти его осталась вдова с маленькими детьми; благосостояние, в котором находилась эта семья, в одну минуту рушилось. Вдова податей платить не могла, а следовательно, не получала и земли (которую, впрочем, и обработать не имела средств); мир, с своей стороны, на вдовьи слезы смотрел тупо.

– Да, добышник был, царство небесное! – сказал дядя Миняй.

– К хрестьянскому делу радельщик был! – добавил дядя Митяй.

И пошли себе все дяди Митяи по домам, а вдова осталась одна с своими слезами, приготавливаясь назавтра же начать изучение той бедственной трудовой науки, которая учит на двадцать рублей в год прокормить себя с детьми и в конце которой (вот сладкие-то плоды!) стоит для сына красная шапка, для дочери, быть может, название деревенской сахарницы, для нее самой – медленная голодная смерть.

Может ли эта баба думать о чем-нибудь? Нет, она не может ни о чем думать, даже о своем собственном положении. Она не имеет времени размыслить, что оно горько и безнадежно, а должна мыслить только о том, что оно неизбежно и что следует смириться перед ним. Она не может даже наплакаться вдоволь над собою, она не может наплакаться над телом своего добышника, да и слезы, которые она прольет при этом, будут слезы не бескорыстные, они будут отравляться мыслью: на кого-то ты меня покинул, как-то завтра я хлеба себе добуду с детьми малыми!

– Что ты теперь будешь делать? – спросил я эту самую бабу.

– А что делать! стану бумагу мотать, а ребяток по миру посылать буду! – отвечала она, и в глазах ее не блеснуло ни злобы, ни негодования, с языка не сорвалось ни одной жалобы на этих дядей Митяев, которые оставляют ее и детей беспомощными, а ежели по временам и поглядят по голове старшего сынишку, то с тайной мыслью: славный солдат будет!

Вот истинная истина из жизни полудикой толпы. За эту истину мы, конечно, не имеем никаких резонных оснований относиться к ней с уважением – это правда; но отчего же тем не менее, обдумавши предмет серьезно, мы не поторопимся обвинить ее? Почему представление о толпе, несмотря на всю жестокость ее, дикость и неразвитость, имеет для нас нечто симпатичное и заманчивое? А вот почему.

Все эти Митяи – народ вовсе не злой и даже не испорченный; они равнодушно поглядывают на бобылкино несчастье совсем не по окаменелости сердечной, поглаживая бобылкина сынишку, с мыслью, что из него будет славный солдат, вовсе не по злорадству. Все это они делают потому, что опыт и история доказали им достаточно, что все они равны перед несчастьем, что каждый из них имеет одинаковые шансы на всякого рода невзгоду. Следовательно, никакой случай в этом роде не только не удивляет их, но и не останавливает надолго их внимания. Что тут плакаться над чужою бедою, когда завтра та же самая беда может стрястись над ним самим? Да и есть ли еще время плакать? Да и не стряслась ли уже эта беда? Не есть ли она вековая его сожлица и сопутница, которой и ждать-то совсем лишнее?

Повторяю: вот она, эта истинная истина жизни толпы, и вот где, по моему мнению, стоит настоящий исход для деятельности. Пусть всякий, выходящий на арену, подумает об этом, пусть пристальнее взглянется в толпу, и припомнит, что был немецкий поэт Гёте, который, в плохом переводе г. Струговщикова, сказал:

Кто не едал с слезами хлеба
и т. д.

ЛЕГКОВЕСНЫЕ
ПРИЗНАКИ ЖИЗНИ

Периодические заметки

ВМЕСТО ВВЕДЕНИЯ – ЛЕГКОВЕСНЫЕ. – ИХ ТОРЖЕСТВО, ОПАСЕНИЯ

И ОКОПЫ

Каких-нибудь три-четыре года времени – и как многое изменилось! Сколько умолкло,

Неоконченное. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru сколько поникло головой! Сколько, напротив того, выползло на свет таких, которые и не надеялись когда-нибудь покинуть те темные норы, в которых они бессильно злоумышляли!

Незрелость мысли, пошлость и животненность стремлений, отсутствие идеалов, ложные страхи, коварство, подозрительность, – какая горькая, сжимающая сердце картина! И во главе всего «*Belle Hélène*» и всеобщий исступленный канкан...

Я знаю, что многие даже сомневаются, может ли время с подобными признаками считаться достоянием истории, что многие думают, что это не более как исторический провал, на дне которого копошатся велегласные русские публицисты. Я знаю, вместе с тем, что подробный анализ современных общественных интересов в значительной степени оправдывает такой безотрадный взгляд на переживаемое нами время, [что это как будто совсем и не «время» в историческом значении этого слова, а, скорее, «мрак времен»]...[6] Я знаю все это и за всем тем верю и утверждаю, что многое в этом мрачном воззрении или преувеличено, или основано на недоразумении.

Современная эпоха имеет не только триумфаторов, но и побежденных; шумные и восторженные клики первых удачно оттеняются голосами стнящих и вопиющих, и таким образом общий гимн торжества утрачивает до известной степени томительное свое однообразие. Если бы современный триумфатор прилепился всеми инстинктами своего существа исключительно к «*Belle Hélène*» – я согласен, это было бы зрелище вполне безнадежное. Но этого нет. Современный триумфатор – бельеленист по преимуществу; он легкомыслен, легковесен и любострастен до бесконечности; но вместе с тем он боится. Он боится, чтоб у него не отняли то мясо, на которое он так плотоядно заглядывается; он боится, чтоб, сверх ожидания, не опустился занавес между ним и тою растленной наготою, которая одна в состоянии пробуждать его вожделения. Поэтому он озирается и ищет кругом тех ужасных людей, которые, злоумышляя против «*Belle Hélène*», тем самым посягают на его единственную духовную пищу. Сверх того, как ни привлекательно наслаждение нагим мясом, оно слишком олимпийски однообразно, чтобы удовлетворить вполне человека даже самого легковесного. И вот в триумфаторе сама собой рождается потребность кой-кого ущипнуть, кой-кого уязвить, кой-кого умертвить. Он с мрачною подозрительностью взглядывается в своих ближних и, как разъяренный самец гориллы, рвет зубами все, в чем видится помеха для его плотоядности.

Как ни ужасен этот признак, но в то же время он заключает в себе семя надежды. Если есть необходимость озираться, [преследовать и подозревать], – стало быть, не все еще предано непробудному сну, стало быть, еще живо в обществе нечто такое, что не дает ему окончательно обрюзгнуть и умереть.

Если б не было побежденных, не было бы и триумфаторов. Если мысль цепенеет при виде крашенных гробов, громко величающих себя столпами мира, то та же самая мысль сумеет даже сквозь сплошную массу живых могил провидеть иные сферы, иные интересы, иную температуру, иную жизнь. История не останавливается от того, что ничтожество делается на время как бы законом и обеспечением человеческого существования; она знает, что это явление эфемерное, что и под ним и даже рядом с ним, не угасая, теплится правда и жизнь.

Легковесные люди – герои современного общества. Чем легковеснее человек, тем более он может претендовать на успех, тем более может дерзать; а ежели он весит менее золотника, то это такой блаженный удел, при котором никаких препон в жизни для человека существовать не может. Пользуясь репутацией общественного столпа, такой человек беспрепятственно проникает во все танцклассы, имеет безграничный кредит в кондитерских и ресторанах и обольстительным своим видом зажигает неугасимый огонь в сердцах дам. Физика торжествует; легкие тела поднимаются вверх; тела плотные и веские остаются в низменностях. Золотники стоят триумфаторами по всей линии, во всех профессиях; они цепляются друг за друга и образуют такую густую цепь, сквозь которую нельзя пробиться даже при помощи осадных орудий. Еще очень недавно вы видели этих бесконечно малых, еще недавно вы думали, что это не больше как жужжащие комары, которые потому только и обращали на себя внимание, что от них нужно было отмахиваться. Теперь это не просто комары, а целая масса комаров, претендующая затмить собою солнечный свет. Их жужжание не просто жужжание, а совокупность миллионов жужжаний, имеющая все признаки трубного гласа. И, что всего страшнее, за этими золотниками уже виднеются в перспективе десятые и сотые доли золотников, которые тоже не

Неоконченное. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru заставят себя ждать и своим бесконечнейшим ничтожеством победят даже бесконечное ничтожество золотников.

Кажется, трудно было вообразить что-нибудь ничтожнее какого-нибудь Феденьки Козелкова. Болтливый глупец, назойливый нахал, пустопорожний носитель либеральной галиматьи, он, по-видимому, соединял в себе все данные, чтобы сделаться львом своего времени, – и что же? Он оказался слишком тяжеловесен, слишком глубокомыслен, слишком дальновиден и прозорлив; он подавлял золотников основательностью и вескостью своих суждений – и вот бесконечномалые скучились, составили комплот и свергнули-таки Феденьку с его пьедестала!

Я встретил его на днях на улице; по-прежнему в нем совершался процесс болтания, по-прежнему он смотрел фофаном, но увы! фофаном не торжествующим, а грустным и приниженным.

– Ты видишь? – сказал он мне, указывая на рой бесконечномалых, суевившихся тут же у наших ног, – но подожди, то ли еще будет! Эти неизмеримомалые – великаны в сравнении с теми, которые придут на их место!

Затем Феденька заговорил об умеренном либерализме, о своих подвигах на поприще постепенного преуспевания, о том, сколько ему нужно было осторожности, осмотрительности и даже самоотвержения, чтобы дать надлежащее направление молодым всходам общественной самодеятельности и проч.

Внимая речам его, я очень мало понял, но в то же время в первый раз в жизни удивился их мудрости. Меня как-то непривычно поразили звуки человеческого голоса. Я сравнивал эти речи с злобным жужжанием золотников и вздыхал... почти плакал. Если б у меня под руками был лавровый венок, то, клянусь, я непременно надел бы его на чело этого пустопорожнего мудреца!

Все проходит, все изменяется. Были идеи – они сменились словами; были слова – они сменились бессвязным любострастным стенанием. Теперь мы жалеем о словах, мы жалеем об этих скудно наделенных внутренним содержанием речах, в которых все-таки слышались знакомые человеческие звуки. Представители бездонного красноречия становятся в наших глазах любезными, даже великими, ибо ежели они не обладали идеями в действительном значении этого слова, то несомненно, что у них были, по крайней мере, обрывки идей. Хватаясь за эти обрывки, можно было добиться исходного пункта, можно было даже временно установить бродячую мысль оратора. Это одно уже было драгоценно, потому что давало возможность предъявлять требования, восстанавливать колеблющую нить суждения, и мало-помалу, с помощью ангельского терпения приводить оратора к заключениям более или менее человеческим.

Увы! эти драгоценные обрывки мысли исчезают бесследно, исчезают в виду всех! Бессвязный гул, который доходит до наших ушей, не только не имеет ничего общего с мыслью, но даже находится в явно враждебных с ней отношениях. Единственное внутреннее содержание этого гула, единственная, если можно так выразиться, мысль его – это непримиримая злоба, это доходящая до остервенения ненависть к мысли. И тут уже нет ни суда, ни разборательства: всякая мысль, каково бы ни было ее содержание, противна золотнику, уже по тому одному, что она мысль, а не похоть, не вождение. Убеждения самые разнообразные, самые противоречивые делаются равны перед безграничною злобою похотливой легковесности; все они подлежат [преследованию и казни] гонению, потому что они убеждения.

«Легковесный» может чувствовать голод, сгорать от любострастных желаний, может ощущать физическую боль, но мыслить не может. Он изгнал мысль из домашнего своего употребления и на этом изгнании основал свое величие. Посмотрите, как он волнуется, как он ловко по временам скользит, по временам перескакивает через препятствия, как он подставляет ножки другим, подобно ему, бесконечномалым, как он стремится, цепляется, изгибается... Не думайте, однако же, чтобы мозговое его вещество было наскольконибудь причастно этому кропотливому движению и чтобы вся эта суэта выражала что-нибудь, кроме самого простого физического упражнения; взгляните вперед, и вы убедитесь, что где-нибудь вдали мотается кусок мяса, по поводу которого целым пожаром вспыхнуло вождение в этом легковесном ничтожестве и к которому вдруг устремились все инстинкты его бесконечно-малого существа. Не подходите к нему в это время: он жирует, а потому зол и может укусить.

Неоконченное. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
Я встретился недавно с одним товарищем по школе. Ребенком он был так себе; не слишком фискалил, подсказывал довольно удовлетворительно и даже охотно курил в печку, хотя никогда не попадался. Я давно потерял его из вида и вдруг узрел во всеоружии. Оказалось, что он имеет прочное общественное положение, что он испытал в жизни *et ceci et cela*, [7] что камелии от него без ума и что, наконец, в будущем его ожидает блестящая перспектива.

– Какие же твои цели? – спросил я его.

– А ближайшая моя цель – съесть вот этот кусок ростбифа (дело было в ресторане), – сказал он мне и от предположения тотчас же перешел к исполнению.

– А потом?

Он несколько изумился моему любопытству, однако ж отвечал:

– А потом – выпить стакан хорошего лафита!

– Да... но не вся же жизнь тут. Вероятно, есть цели, есть убеждения...

В этот раз он взглянул на меня уже не с изумлением, а с строгостью.

– Убеждения, любезный друг, – сказал он мне, – могут иметь люди беспокойные или недовольные. Мы люди покойные и довольные; мы не страдаем так называемыми убеждениями; мы стремимся и достигаем.

Сказавши эти слова, он величественно встал с дивана, кивнул буфетчику и вышел, не доевши даже своего завтрака. Я устремился ему вослед, чтобы спросить, что же наконец заключается опасного или гнусного в слове «убеждение» и как поступить, если эта гнусность ни под каким видом не хочет вытравиться из сердца? – но он был уже далеко. Я видел только, как сверкала на солнце его круглая гладкая шляпа и мелькали по тротуару проворные ноги.

Я уверен, что в настоящее время он питает ко мне злобу непримиримую и что представься случай, он позабудет все связи прошлого и отомстит – таки мне за свой неудавшийся завтрак.

Был у меня и другой товарищ, по фамилии Швахкопф (из немцев), которого специальность состояла в том, что он ни на одном языке не умел выражаться по-человечески и всем и каждому жаловался, что у него в голове нет «мизль» (мысль). Встречаю на днях и его – тоже чуть ли не сплошь изукрашен бриллиантами общественного доверия...

– Ну что, как «мизль»? – спрашиваю я его, по старой привычке.

– Мой «мизль» – нет «мизль»! – ответил он мне с таким уморительным глубокомыслием, что я не утерпел и бросился его целовать.

Передо мной воскресло далекое прошлое. Мне вспомнилось, как этот добродушный Швахкопф натуживался и потел в поисках за мыслью, как мы, неразумные его товарищи, издевались над этими потугами и, наперерыв друг перед другом, предлагали к его услугам самые изумительные, самые беспримерные мысли. Стало быть, однако, этот человек чувствовал потребность мысли; стало быть, он сознавал, что без мысли не жить ему на свете, – и вдруг, какой переворот! «Моя мысль – нет мысли!» Сквозь какое горнило сугубых гнусностей должен был пройти этот простодушный субъект, чтоб прийти к такому отчаянному афоризму.

Бесстыдство как замена руководящей мысли, сноровка и ловкость как замена убеждения и успех как оправдание пошлости и ничтожества стремлений – вот тайна века сего, вот девиз современного триумфатора. «Прочь мысль! прочь убеждения!» – на все лады вопиет победоносное комариное воинство, и горе тому профану, который случайно или по неведению врежется в этот сплошной рой с своими так называемыми *idées de l'autre monde*! Его заязвят, зажужжат, засосут, и ежели не покончат навсегда, то, наверное, на долгое время оставят в теле отвратительный зуд!

«Легковесный» встречается всюду, во всех профессиях, во всех кружках так называемого общества. Вы узнаете его по нахальному его взгляду, по искусственной развязности его поступи, по плотоядному выражению улыбки и, наконец, по

Неоконченное. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru растленной беззастенчивости его речей. Жаргон этой jeunesse dorée, этого особого, до сих пор достаточно не исследованного вида человека, не просто ничтожен, но положительно посрамителен для человеческого слуха. Это какой-то каскад неслыханных и нескладных слов, не соединенных между собой никакой внутренней связью и возбуждающих в собеседнике не ответную работу мысли, но поползновения похоти.

«Легковесный» ленив, несмотря на свою юркость, неспособен, несмотря на то что за все берется, невежествен, несмотря на то что никогда не краснеет. Прикосновение его к какому бы то ни было делу действует тлетворно и разрушительно. Несмотря на это, он успевает именно потому, что нагл и угодлив в одно и то же время, и свою открытой враждой к мысли и убеждению зарекомендовывает себя как человека на все готового. С этим скудным запасом он забирает все вверх и вверх, ничего не видя, ничего не понимая, не имея даже никаких целей, кроме самого процесса забирания вверх и вверх. «Ты взялся за такое-то дело, – говорите вы ему, – но ведь ты понятия об нем не имеешь, ты даже в первый раз услышал об нем в ту минуту, как за него взялся!» Но он даже не удостоит вас ответом на такую речь; он просто посмотрит на вас с обычным своим простодушным бесстыдством, как будто говорит: «чудак! разве нужно понимать дело, чтобы взяться за него!»

Увы! он прав, потому что успех оправдывает его превыше всех ожиданий, он прав, потому что какое же может быть дело в этом вихре канкана, к которому обращены все стремления общества.

Итак, «легковесный» беззастенчив, невежествен, неспособен, самонадеян... и сверх того чувствен как жаба! Это последнее качество будет со временем подводным камнем, о который вдребезги разобьется утлый челн «легковесного». С одной стороны, удовлетворение чувственности стоит дорого, с другой стороны, количество легких способов добывать деньги с каждым днем сокращается. Лоретки, камелии и кокетки спасут когда-нибудь общество от «легковесных», и вот почему я смотрю на них не только без ненависти, но даже с некоторым умилением. Мне все кажется, что каждая из них вот-вот проглотила одного из «легковесных», и хотя имя им легион, но я знаю, что и прожорливость кокетки ни с чем не сравненна, а потому надеюсь и жду.

Сознавая свое внутреннее бессилие, «легковесный» окапывается. Не сознавать такого очевидного факта он не может; ни для кого не тайна, что «легковесный» есть не что иное, как продукт временного затмения общественного смысла; что он всплыл наверх благодаря роковому сцеплению дурного свойства случайностей; что он нигде не встретит к себе ни сочувствия, ни уважения, потому что и за ним и перед ним – пустота и прах; что рано или поздно (и скорее рано, чем поздно) он пропадет сам собой, без шума и треска, не оставив на месте ничего, кроме ничтожной комариной погадки. Но пламень животолубия горит в нем так сильно, что даже при полном сознании недолговечности он бодрится и строит кругом себя укрепления.

Признаюсь откровенно, я не верю в наши укрепления. Инженеры, что ли, наши несообразительны, но всегда как-то так выходит, что или укрепления выстраиваются совсем не там, где следует, или же что под видом укреплений воздвигаются карточные домики. Оттого, когда нам приходится палить, то мы или палим по своим, или убеждаемся, что без пороху палить невозможно. Было время (и довольно продолжительное), когда мы укреплялись и окапывались с особенным рвением, когда мы мечтали даже, что вот-вот окопаемся и от себя, и от целого мира. И что ж? – в ту самую минуту, когда мы с гордостью помышляли, что дело окапыванья наконец совершилось, когда мы уже простирали руки, чтобы плотно-наплотно закупорить себя, как в бутылке, – вдруг оказалось, что инженеры по всей линии сплеховали и что в бутылку, бог весть откуда, налезло множество совсем ненужных элементов! Я живо помню отчаянье моего учителя географии при этом известии. Он до того понадеялся на родных инженеров, что даже в учебнике своем написал: «Россия есть бутылка, со всех сторон осмотровительно закупоренная» – и вдруг пришлось вновь обратиться к общепринятой терминологии и вновь переименовывать Россию из «бутылки» в «государство»! Я помню много и других отчаяний и изумлений, разразившихся по этому поводу, и с тех пор мною овладело сомнение. Я сомневаюсь не только в прочности, но даже в необходимости укреплений.

Вот, думаю я, уничтожены шлахтаумы – и сердце России не дрогнуло; упразднено крепостное право – и помещики сугубо возвеселились; сдан в архив откуп – и

Неоконченное. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru кабаки приумножились; наложена печать молчания на уездные и земские суды – и злодеи не только не торжествуют, но наипаче трепещут; найдена излишне предупредительная цензура – и Хан с Богушевичем не дремлют! А ведь какие, казалось, твердыни и какого переполоха надлежало опасаться по поводу их падения! И ничего! не только ничего, но даже как будто этих твердынь совсем и не бывало! Это до такой степени поразительно, что можно идти далее и утверждать, пожалуй, что если признается нужным упразднить даже казенные палаты и особые о земских повинностях присутствия, то и эту невзгоду Россия выдержит с благородием, достойным всякой похвалы.

Когда я соображаю все это, то недоверие к укреплениям и окопам, воздвигаемым легковесными, усугубляется в душе моей еще более. Мне начинает даже казаться, что это вовсе и не окопы, а так, дрянные песочные стенки, кой-как слепленные собственными слюнями золотников.

Повторяю: я очень хорошо понимаю опасения «легковесных». Представлять собою одно ничтожество – и втайне сознавать это; не обретать в себе ни единой струны, которая служила бы связью с миром живых, – и в то же время сгорать жаждой навязать себя этому миру во что бы ни стало; ежеминутно волноваться вопросом: отчего же меня не бьют? и неужто я, во всех отношениях гадина омерзительная, до сих пор жив? – и в то же время ощущать, как стонет утроба от приливов животолубия... воля ваша, едва ли найдется положение мучительнее этого! Напуганное воображение невольно вступает в свои права, овладевает всеми способностями, человека и начинает рисовать картины самого мрачного свойства.

Мир населяется грубиянами и беспокойными; тысячи ловушек, тысячи засад представляются умственному <взору>; куда ни обернись – везде посягательство, везде брешь, сквозь которую вот-вот ворвется неведомая какая-то сила и беспощадно выметет из жизни все непотребное и позорное... И чем спокойней поверхность окружающей трясины, чем меньше вскакивает на ней пузырей, чем тяжеле и глубже царствующее окрест безмолвие, тем подозрительнее озирается «легковесный», тем сомнительнее представляется ему будущее. Тут самое безмолвие принимает угрожающий характер, самые могилы как будто провещивают. «Нет! Это неспроста! не может быть, чтоб меня не били! Это интрига! это недостойный комплот!» – умозаключает «легковесный» и, гонимый страхами, начинает разгораться, разгораться... и злоумышлять.

«Вы меня презираете – хорошо! Я мирюсь с вашим презрением! В сущности, я не претендую ни на сочувствие, ни на уважение; я требую одного: чтоб меня трепетали!» Так вещает легковесный и, вслед за словом, начинает плести бесконечную сеть коварства и лжи, в чайные опутать ею те остальные проблески истины и добра, которые светом своим оскорбляют, его взоры.

Я не нахожу нужным доказывать здесь, до какой степени страхи «легковесных» преждевременны и преувеличенны. Всматриваясь внимательно, я не вижу ни одного симптома, ни одного зловещего признака. Напротив того, все обстоит благополучно. Жизнь, конечно, делает свое дело, не останавливаясь, но никому до сих пор не приходило на мысль укорять ее в таких произвольных движениях, которые оправдывали бы торжество «легковесных» с их темной свитой угроз, предательства и коварства. Увы! в ней с большим основанием можно отыскать недостаток цепкости и бедность инициативы, нежели поползновение к забиячеству, ее скорее можно укорить в несокрушимом стремлении к застою, нежели в искании бурь. Смирно стоит она, в ожидании, не упадет ли с неба благодать, и ежели таковая упадет, то не бросается на нее с легкомысленностью ребенка, но с осмотрительностью мужа, сейчас оторванного от сна, рассматривает эту благодать и, насытивши взоры, вновь отправляется досыпать прерванный сон.

Против такого скромного течения жизни бесполезны всякого рода твердыни. Воздвигайте укрепления, устраивайте окопы – жизнь не тронется ими, ибо не заметит их. А ежели вдобавок вы начнете еще палить, то положительно перебьете только своих единомышленников. Те единицы, против которых собственно и направляются стрелы, ускользают легче, нежели можно предполагать. Они слишком разбросаны, слишком стоят особняком, чтобы направляемые в них удары были всегда метки и верны. Да притом, и влияние их вовсе не так заметно, чтобы можно было оправдать им необходимость пальбы. Желая достать их, вы истребляете множество неповинных, которые, не понимая причин тревоги, изумленными взорами вопрошают: за что ты дерешься?

Неоконченное. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
Стало быть, первое доказательство бесполезности окопов заключается в том, что они не имеют цели и не вызываются необходимостью. Второе доказательство серьезнее. Жизнь самая скромная может наконец приметить, что против нее умышляется нечто недоброе, и заметить это тем скорее, чем чаще ей напоминают о том фальшивыми тревогами и искусственными страхами. С той минуты вопрос: за что ты дерешься? – мгновенно утрачивает всякий личный характер; он переходит из уст в уста, начинает интересоваться умы обывателей и, постепенно овладевая их помыслами, становится в укор всем насущным потребностям дня. Обыватель делается самонадеян и даже отчасти нахален; хотя он не протестует против оплеух, но хочет уяснить себе это явление, хочет дойти до сознания, в каких случаях плюха с обстоятельствами дела согласна и в каких – нет. Казалось бы, что тут-то именно и ждать от твердынь благодати...

Увы! опыт доказывает, что в этих случаях твердыни сугубо несостоятельны. Во-первых, как ни усердствуйте, а всех перепалить ни под каким видом не разрешается; во-вторых, не следует терять из вида, что в обстоятельствах этого рода всегда играет немаловажную роль измена. Она незаметно пробирается в самое сердце твердынь и ядом своим растлевает сердца палителей. Поднимается свара и рознь в самом святилище; возникает мысль о предательстве; оказываются дезертиры; костюм ренегата становится *très élégant et très porté*. [8] И вот в одно прекрасное утро твердыни накрываются паутиною!

Да; вопрос: за что ты дерешься? – есть один из тех жизненных вопросов, к которым следует подходить с осмотрительностью. Будь я на месте «легковесных», я не только избегал бы случаев, могущих возбудить его, но даже если бы, паче чаянья, он упал ко мне с неба, то постарался бы ласкою и вежливым обращением так обворожить его, что он сам устыдился бы своей нескромности и поспешил бы лопнуть вместе с прочими пузырями, от времени до времени появляющимися на поверхности трясины.

Достигнуть этого вовсе не трудно. Чтобы сделать свое торжество прочным, «легковесным» следует только быть скромными. У них есть «*Belle Hélène*», есть танцклассы, есть канкан – чего еще нужно? Они могут наслаждаться этими благами на всей своей воле, – и конечно, никто не посягнет на их наслаждения, никто не заметит их. Нет спора, что они распространяют кругом предосудительную атмосферу глупости и бездельничества, но ведь и это дело поправимое: стоит только почаще курить. Одним слов<ом>, все шло бы отлично, если б не замешались тут ложные страхи и пагубная самонадеянность. «Легковесные», не довольствуясь скромной долей, для которой они предназначены самой природой, хотят буйствовать, хотят уязвлять, хотят возбуждать вопросы. Злополучные! они не понимают, что есть случаи, когда попасться на глаза уже значит пропасть, исчезнуть, погибнуть.

ИТОГИ

ГЛАВА V [9]

Первая редакция

К числу непомнящих родства слов, которые чаще всего подвергаются всякого рода произвольным толкованиям, несомненно принадлежит слово «анархия».

Герои улицы прибегают к этому выражению во всевозможных случаях. Прикасается ли человек к вопросам, имеющим общественный характер, ему кричат: «Что вы делаете? Разве вы не видите, что там, на дне, таится анархия!» Углубляется ли человек в самого себя – говорят, что он делает это неспроста, что он замышляет анархию. Предъявляет ли человек самые скромные требования к жизни, – его предостерегают, что всякое требование постепенно приведет за собою другие требования, а затем и анархию. Занятие науками считается анархией, занятие науками естественными – анархией сугубою.

Был момент, когда чуть ли не вся Россия была заподозрена в стремлении к анархии, когда только идиот да отъявленный жулик могли считать себя свободными от клички вроде анархиста, поджигателя, революционера, нигилиста и т. п. Это было время очень тяжелое, но что оно было – это ни для кого не тайна. И даже не момент продолжалась эта терроризация во имя анархии, а долго, дольше, чем можно вместить (и, однако ж, мы вместили), и характер ее был тем жестче, что накануне она сама считала свое дело проигранным и, следовательно, с наступлением благоприятного момента сочла долгом наверстать все прошлые неудачи. Накануне – ликование и скрежет зубов; на завтра – тоже ликование и скрежет зубов, но уже в обратном смысле. И какое ликование! с воплями, с гиканьем, с травлею, со всеми принадлежностями несомненно торжествующей дикости!

Накануне прогрессисты еще чувствовали себя неуязвимыми и, указывая на безграничное пространство, кричали: вперед! Под рукою они даже заявляли о своем сочувствии молодому поколению. «Это ничего, – говорили они, – что молодые люди увлекаются; наступит время, когда и им придется вспомнить, что они кость от костей наших!» И действительно, вспомнить пришлось не далее как назавтра, и так вспомнить, как не приходилось никогда до этого времени и как придется, быть может, вспоминать лишь в будущем, когда страна российская почувствует себя достаточно крепкою, чтоб разом покончить со всякими анархиями, гидрами, безднами и т. д.

В одно прекрасное утро вылезли из нор консерваторы с такими ожирелыми затылками, каких никто до тех пор не подозревал. Это были так называемые столпы. Они стекались отовсюду, свободно разгуливали по стогнам столичного города и единими устами вопили: анархия! Из провинциальных берлог приезжали дикого вида люди, чтоб крикнуть это ужасное слово и затем вновь скрыться в берлогу. Патагонцы сводили счеты, припоминали прошлые обиды и все это сваливали в одну кучу под общим наименованием анархии. На первых порах они, разумеется, с особенной яростью набросились на прогрессистов, потому что у нас так уж заведено, что всякий человек прежде всего кусает своего соседа. И так как каждый прогрессист есть не что иное, как переодетый ретроград, то укусить его было не в пример сподручнее, нежели запускать зуб в мякоть более или менее неизведанную. И много исчезло тогда прогрессистов, яко исчезает дым, но большинство все-таки, извернулось и, смело сбросивши взятые напрокат одежды, в свою очередь благим матом закричало: анархия! Состоялся компромисс, в силу которого на одной стороне стали переодетые и непереодетые консерваторы, на другой – лишенные одежд птенцы. И досталось же тогда на орехи птенцам за то, что они легкомысленно поверили слову: вперед!

А между тем, стоит лишь пристальнее вникнуть в то значение, которое дается нашими уличными философами слову «анархия», и всякий убедится, что здесь все основано на самом вопиющем извращении понятий вполне ясных и не подлежащих спору.

В самом деле, что такое «анархия» в глазах уличной толпы? Анархия – это возбужденное состояние умов; анархия – это скептическое отношение к преданию, регулировавшему жизнь; анархия – это искание истины новой, уровень которой более подходит к уровню нарастающих нравственных и материальных условий жизни; анархия, наконец – это сама жизнь, выдвинувшаяся из старой колеи и пробивающая себе колею новую. Или, говоря иными словами, анархия – это все то, что обуславливает движение, прогресс. Ежели в обществе возникает сомнение в удовлетворительности идеалов, которыми оно до того времени руководилось, или в законности рамок, которыми оно добровольно или невольно ограничивало себя; если установившиеся веками отношения оказываются искусственными, стеснительными и ненужными; если человек заподозревает непререкаемость предания и делает попытку, независимо от предания, уяснить себе положение, которое он занимает в обществе и природе, – все это признаки, которые, по мнению уличной толпы, неразрывны с существованием анархии. А так как и самая история развития человеческих обществ есть не что иное, как история разложения масс под влиянием сознательной мысли, то очевидно, что и история не может быть ничем иным, как непрерывною анархией. И ежели уличная толпа не высказывает этого последнего заключения, то только потому, что она под именем истории понимает тот или другой учебник, изданный для руководства в семинариях и кадетских корпусах.

Инициатива подобного рода мнений об анархии исходит обыкновенно от людей бессовестных и потому слывущих умными (у нас и до сих пор еще в ходу истина, что «умный человек не может быть не плутом»). Эти люди с удивительным умением пользуются истинами, которые по плечу толпе. Толпа обобщает с трудом; она не имеет ни подготовки, ни досуга для обобщений, ибо конкретность насущной минуты подавляет ее всецело. Поэтому ей понятны лишь истины, основанные на грубейшем эмпиризме, или такие, которые когда-то считались истинами, но за несостоятельностью покинуты мыслящей средою и пущены в обращение масс в виде истертой мелочи. Но толпе эти истины дороги, потому что у нее нет других, потому что доступ в область критической проверки еще закрыт для нее. Все это хорошо известно всякому имеющему дело с массами, всякому желающему иметь на них влияние. Но дело в том, что человек, не вполне разлученный с совестью, понимает, что созидать свой успех на истинах, признанных негодными, значит заведомо прибегать к обману, и потому останавливается перед таким предприятием. Напротив

Неоконченное. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru того, человек бессовестный и прожженный чувствует здесь себя совершенно свободным. А потому, когда он является домой и начинает утверждать, что косность есть жизнь, а движение – смерть, то толпа мгновенно захмелевает. Выделяются сонмища людей глупых и усердных, которые не могут различать ни того, на чьей стороне находится их интерес, ни того, куда собственно клонится речь ловких людей, вопиющих об анархии, а могут только во всякое время мгновенно наливать кровью. Вот эти-то глупые люди и составляют так называемую стену, о которую разбивается прогрессирующая мысль. И – странное дело! несмотря на то что всеми их побуждениями руководит одна бессознательность, по временам они доходят до озлобления даже горшего, нежели то, которое питает их руководителей.

Начинается бред наяву. Глупые люди рассказывают друг другу анекдоты о глумлениях, поправках и тому подобных бесчинствах, сопряженных с «анархией». Об «авторитете» упоминается как о чем-то погибшем, поруганном, посрамленном. Толпа вздыхает и вместе с «авторитетом» мнит и себя погибшею, поруганною и посрамленною. Но попробуйте заставить любого из этих вздыхающих людей, чтоб он дал сколько-нибудь ясное определение предмета его воздыханий – и вы тщетно будете дожидаться ответа. Самые добросовестные выпучат глаза; бессовестные и прожженные изрыгнут ругательство и посулят нелегкое.

Что же такое в самом деле этот «авторитет», об охране которого так стужается уличная толпа? В действительности это не что иное, как жизненный идеал, которым в данную минуту руководится общество или отдельный человек и уровень которого вполне соответствует уровню духовного и нравственного развития минуты. В этом соответствии заключается вся сила авторитета, все его жизненное значение; с исчезновением его идеал уступает место бессмысленному идолу, дальнейшее существование которого возможно лишь под условием бессознательности, возведенной в систему и поддерживаемой целым рядом насилий.

Но коль скоро сила авторитета находится в зависимости от его соответствия уровню потребностей жизни, то из этого само собой следует, что понятие о неизблемости авторитетов есть понятие по малой мере спорное. Он неизблем, покуда человек находит в нем прочную руководящую нить для жизни; но как скоро жизнь затопляет поставленные им грани – ясно, что наплыв новых требований должен затопить и износившийся от времени авторитет. При низкой степени человеческого развития авторитет представляется в самой грубой форме, или, говоря точнее, значение авторитета присваивает себе все то, что может «приказать» и против чего «ничего не поделаешь» – кто же, однако, назовет подобный авторитет неизблемым? Можно ли назвать неизблемыми и множество других подобных же авторитетов, при посредстве которых человек некогда разъяснял все свои сомнения, но которые, в сущности, привели за собой лишь массу заблуждений, как, например: авторитет стихийных сил, авторитет безусловного подчинения природе и т. д.

Нет сомнения, что ответ на все эти вопросы может быть только отрицательный, ибо отрицание в этом случае подтверждается самою историей. Она доказывает, что авторитеты постепенно утрачивают свою первоначальную грубую форму и приобретают форму более тонкую и сложную. Не об авторитете, в смысле принципа, идет здесь речь, а об авторитете «имярек». Следовательно, ежели мы видим человека, который отрицает известный авторитет, то это не значит, что здесь отрицание захватывает самый принцип авторитета, а значит только, что оно простирается только на авторитет данный. Собственно говоря, во всех этих пресловутых отрицаниях даже отрицания никакого нет, а есть только перемещение авторитета из сферы низшей в высшую. Авторитет стихий заменяется авторитетом физической силы, авторитет физической силы – авторитетом силы нравственной и духовной; авторитет бессознательного подчинения природе – авторитетом сознательного отношения к ней. В чем же можно тут заподозрить подрыв? Терпит ли «авторитет», как принцип, от подобных перемещений?

Напротив того, здесь-то именно он и получает действительную прочность и силу. Прочность, о которой так много хлопочут сторонники «авторитета», приобретает лишь тогда, когда ослабляется приказательный характер авторитета и заменяется характером естественно-обязательным. Но очевидно, что эта нравственно обязательная сила может быть достигнута лишь тогда, когда человек относится к авторитету сознательно, когда он может дать себе ясный отчет в том, что и почему он в данном случае признает. Вот эту-то сознательность и имеют в виду те движения человеческой мысли, которым ошибочно присвоается название анархических. Не в ущерб авторитету возникают эти движения, а в видах его упрочнения, и не произвольно возникают, а именно тогда, когда старый авторитет обнаруживает себя

Неоконченное. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru недостаточно состоятельным, чтоб удержать мысль от колебаний, в которые повергает ее всякое руководящее начало, достоинство которого исключительно основано на бессознательном к нему доверии. Такого рода начала могут иногда до поры до времени поддерживать жизненный строй, но, в сущности, эта поддержка будет мнимая и человек, который решится проникнуть в те формы, которые она создает, не встретит внутри их ничего, кроме тления и праха.

Следовательно, ежели перед нашими глазами происходит в обществе движение, стремящееся расширить арену человеческой деятельности и освободить ее от связывающих ее пут, то, как бы ни поразило нас это движение своею необычностью, мы не вправе видеть в нем ни «анархии», ни так называемого «попранья авторитета». Остережемся, ибо хотя слово «анархия» кажется для всех ясным, но в действительности смысл его понятен лишь очень немногим. Употребляя это выражение без разбора, мы рискуем смешать его со словом «успех» и под предлогом упразднения бесчинств упразднить самое развитие жизни. И не то отдаленное развитие, которое сулят нам мечтатели и утописты, а развитие обыденное, без которого немислим ни один шаг в человеческой жизни.

Пусть каждый вникнет ближе в собственную жизнь, и он увидит ее усеянную множеством всякого рода идолов, наводящих страх, уничтожающих самые законные проявления человеческого существа, благодаря нравственному оцепенению, в котором обретается большинство. И это не вчерашняя история, а очень давняя. Человечество прошло сквозь тьму тем идолов, веруя им и ожидая от них спасения, покуда наконец избранные люди не доказывали, что спасения следует искать совсем в другом месте. К счастью для человечества, эти избранные люди никогда не вымирали окончательно, как никогда же не переводились и глупцы, кричавшие им вслед: анархия! Глупцов пугали страшные слова. «Ломать», «разрушать», «уничтожать» – этих страшных слов достаточно, чтобы привести толпу в тревожное состояние. Толпа не спрашивает ни того, что предполагается ломать, ни того, можно ли создать новое, не сломавши старого. Она бьется и изнемогает под игом всевозможных невольных союзов и искусственных комбинаций и не понимает того, что то недовольство, которое она ощущает, может быть устранено только устранением причин, его породивших. Ломать – это ломать, и ничего больше, вредный или благотворный смысл этого слова совершенно зависит от того, на какой предмет простирается его действие. Если известное установление или обычай существует давно, то это еще не значит, что он непогрешим и что следует безгранично терпеть его во имя одной его давности. Это значит только, что мир искони был наполнен людьми, которые пугались страшных слов. А те, которые страшных слов не пугаются, а говорят прямо, что ветхое ветхо, негодное негодно, – те вовсе не суть проповедники анархии, но суть ревнители и устроители человеческих судеб. Христианство сломало языческий мир и утвердилось на его развалине – ужели тут было нечто похожее на анархию? Разрушенное крепостное право – ужели это анархия? Упраздненный винный откуп, уничтоженный инспекторский департамент гражданского ведомства – все это анархия, анархия, анархия? Нет, конечно, никто не заподозрит ничего анархического ни в одном из поименованных выше движений человеческой мысли. Так обобщайте же, милые люди, обобщайте! С помощью обобщений вы от инспекторского департамента дойдете до самых сложных комбинаций, которые, в сущности, столь же мало драгоценны, как и упомянутый выше департамент.

Таким образом оказывается, что искание анархии в том движении живой мысли, которая стремится дать формам человеческого общежития такую устойчивость, которая обеспечивала бы индивидуальное счастье, есть дело не только несправедливое, но и в высшей степени вредное по своим практическим последствиям. Это значит подрывать жизнь в самом корне, значит уничтожать всякую надежду на прогресс. Видя мужика, круглый год наполняющего свой желудок мякинным хлебом, мы не имеем права сказать, что таково нормальное и фаталистически предопределенное положение вещей, но обязаны верить, что оно изменится к лучшему. Иногда мы до того привыкаем к подобного рода зрелищу, что оно нимало даже не смущает нас, но это свидетельствует только о нашем притуплении и нимало не обязательно для людей, более чутких к восприятию впечатлений. И когда эти люди напоминают нам, что хлеб с лебедю есть ненормальный хлеб, что мужик есть человек и как человек имеет право на свою долю человеческого счастья, мы не должны называть их ни анархистами, ни даже утопистами, а просто благонамеренными людьми, которые пробуждают нас от оцепенения и не дают нам коснеть в фаталистическом индифферентизме.

Не справедливее ли будет, если мы назовем анархическим такое состояние общества, когда оно самодовольно засыпает, убежденное, что все, что предстояло ему

Неоконченное. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru совершить, благополучно совершено и далее идти некуда? – вот вопрос, которого разрешение несравненно интереснее, нежели голословные и, в сущности, ничего не разъясняющие обвинения в поправах, глумлениях, ломках и разрушениях.

Если б возможно было предположить, что общество – не говоря уже о современном обществе, а просто когда-нибудь в отдаленном будущем – получит право сказать, что все предстоявшие ему задачи разрешены, тогда, конечно, следовало бы допустить и осуществление для него так называемого «золотого века». «Золотой век не позади, а впереди нас», – сказал один из лучших людей нашего времени, и, конечно, в этой фразе нет ничего ни смешного, ни преувеличенного, потому что человек так уж устроен, что ему непременно хочется золотого века, и во всяком признаке прогресса он видит приближение его. Но это все-таки золотой век относительный, то есть тот, который возможен по условиям данного времени. Что же касается до абсолютного золотого века, до той минуты успокоения, самодовольства и духовного и материального равновесия, когда человек найдет основание счесть себя опочившим от дел, то предположение о таком порядке вещей по малой мере не имеет за себя ничего верного и решительного. До сих пор творчество природы, как и личное творчество самого человека, представляются нам бесконечными. Природа представляет нам неистощимый родник открытий, человек, с своей стороны, заключает в себе неистощимый родник анализирующей и обобщающей силы. Кто может сказать, какая миллионная часть сил природы не представляет для нас таинства? кто может сказать, какая миллионная часть собственных сил и способностей человека открыта ему? Даже внешние признаки планеты, которую человек населяет, далеко не вполне известны ему, и тот преемственный прирост новых племен, новых произведений природы прямо доказывает, что арена человеческой промышленности все больше и больше расширяется. Кончится ли когда-нибудь этот прирост и что станет с нашей планетой, когда он кончится? погибнет ли она или будет свидетельницей общего блаженства? – обо всем этом можно только гадать, но утвердительных ответов на эти вопросы дать нельзя.

«Но мир открытий есть мир науки – никто и не мешает последней иметь с ними дело». Так возражают обыкновенно те близорукие люди, которые во что бы то ни стало хотят поставить непроницаемую перегородку между наукой и жизнью. Однако ж эти люди заблуждаются очень грубо. В жизни, как и в природе, нет ничего стоящего особняком, а ежели мы и видим попытки организовать насильственное особничество, то попытки эти всегда кончаются не менее насильственным разрывом искусственно воздвигаемых перегородок и форм. Несмотря на то что уличная толпа и до сих пор не усматривает живой связи между жизнью науки и ее собственной обыденной жизнью, разлагающее влияние первой на последнюю не требует даже доказательств. Самый жалкий адепт бессознательности, сам того не подозревая, пользуется плодами освобождения от уз, которые приносит с собой наука. Он пользуется сравнительно большим довольством, нежели столь же бессознательный отец его, он чувствует себя в более разумных отношениях к окружающей природе, сознает себя освобожденным от множества страхов и опасностей, которые сопровождали каждый шаг его предка. И ежели, благодаря его неразвитости, новое вино продолжает еще бродить в старых мехах, то придет же наконец минута, когда старые меха разорвутся, и тогда сами собой разлетятся в прах все хитросплетенные союзы, завещанные нам ассирийцами, вавилонянами, римлянами, греками и т. д.

Таким образом, даже говоря абсолютно, никак нельзя утверждать, чтобы для человечества когда-нибудь могла наступить эпоха полного успокоения. Гораздо с большим правом можно предположить, что прогресс изменит характер (как он изменяет его) и теперь, постепенно переходя из области политической в область общественную, но что он будет продолжать свое действие – это, кажется, не должно подлежать сомнению. Тем менее права на подобное успокоение мы можем признать за временами более близкими нам и тем меньше можем отказывать в сочувствии тому духу движения, который обнаруживается перед нашими глазами. Если нас смущает неправильность проявлений этого духа, то мы не должны забывать, что эта неправильность отнюдь не составляет его органического недостатка, но есть следствие условий времени и недостаточности нравственного и духовного развития современного общества.

Стоит оглянуться кругом себя, чтобы понять, до какой степени самонадеянны мечты тех, которые предумышленно или бессознательно мнят себя достигшими пристани. Сколько обделенных или считающих себя обделенными! сколько униженных и оскорбленных! сколько людей, до сих пор поставленных судьбой вне пределов истории! сколько людей, одаренных природой и не знающих, что делать с этими дарами! сколько препятствий при проявлении самых законнейших требований природы

Неоконченное. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru человеческого существа! Естественно ли, чтоб все это смолкло, застыло, добровольно покрыло себя пеплом забвения? Чтобы правильно ответить на этот вопрос, пусть всякий сторонник успокоения обратится к своей совести и мысленно поставит самого себя за пределы истории.

Жизнь знает, что самый вопрос, поставленный в этой форме, есть вопрос безумный, и потому отвечает на него по-своему. Она поступает целостью форм, завещанных преданием; она дает жизнь новым элементам, узаконяет тех, которые в смысле политическом и историческом считались не имеющими рода и племени. Поступая таким образом, она не делает ничего необычайного, а только совершенствует саму себя. Мешать ей в этом значит идти наперекор основных ее законов, значит быть нарушителем естественного ее хода, значит быть подрывателем, попирателем, разрушителем, анархистом.

Да; истинные анархисты не там, где их обыкновенно указывают, а там, в той окрепшей среде, которая все готова остановить, на всю природу набросить покров забвения, чтобы только ничто не мешало ей предаваться дешевым утешениям праздности. И когда эти праздные и себялюбивые мечтатели, при помощи горькой случайности, одерживают в обществе верх, тогда, действительно, наступает самая горчайшая из всех анархий, о которых когда-либо свидетельствовала история.

Замечательно, что никогда так называемые анархисты, то есть сторонники прогресса, не действовали с такою ужасающе жестокостью, с какою всегда и везде поступали анархисты успокоения. Одичалые консерваторы современной Франции в одни сутки уничтожают более жизней, нежели сколько уничтожили их с самого начала междоусобия самые дикие из приверженцев Парижской коммуны. И все это делается во имя успокоения, во имя того самого успокоения, которое самый самодовольный из членов одичалой корпорации считает невозможным. Пусть же этот факт будет замечен, пусть послужит он мерилом для сравнения последствий, которые влечет за собой торжество той или другой партии. А если прибавить к тому, что жертвами анархии успокоения являются обыкновенно люди, находящиеся в полном развитии сил, и что, следовательно, с исчезновением их подсекается жатва будущего, то ясность факта сделается еще более непререкаемою и очевидною.

Допустим, однако ж, что успокоение, которого так добиваются философы уличной толпы, наконец достигнуто – в чем же заключается его сущность? в том ли, что общество действительно придет к обладанию всеми материальными и духовными благами, сумма которых составляет то, что обыкновенно называется счастьем? в том ли, что оно найдет себе руководящую нить, при посредстве которой устранятся терзающие его колебания? в том ли, наконец, что, не овладев еще счастьем, оно увидит мерцание его животворящего луча?

Нет, ничего подобного не даст это хваленое успокоение; оно не даст ни счастья, ни даже надежды на него. Успокоение – это прекращение жизненного процесса, и ничего больше,

Когда жизнь застывает, то людям близоруким кажется, что все, подлежавшее достижению, достигнуто и более идти некуда. Но в действительности достигнута только анархия, то есть господство горчайшего из насилий, какое только может себе представить человеческий ум.

Обделенные не протестуют, униженные не поднимают головы; поставленные вне пределов истории не порываются перешагнуть эти пределы. Все это правда. Но неправда то, что в этом отсутствии протеста, в этой безгласности они нашли себе удовлетворение. Они все-таки остаются обделенными, униженными и поставленными вне пределов истории и не протестуют только потому, что находятся в оцепенении.

Когда общество находится в оцепенении, оно не может иметь ни стремлений, ни руководящих идей. Оно или просто-напросто гниет под игом бессознательности, или же бредет как попало, не имея впереди ни цели, ни светящегося пункта. Это общество, доведенное до отчаяния, до изнурения; это общество, у которого нет другого девиза, кроме одного: «не твое дело».

Можно ли придумать девиз более анархический, более противный человеческой природе?

Ответ на этот вопрос до такой степени не подлежит сомнению, что даже поборники успокоения понимают, что невозможно серьезно уверить человека, что ему нет дела

Неоконченное. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru до самого себя. Было время, когда девиз «не твое дело» прилагался в самых широких размерах, когда на нем одном основывалась вся жизнь, но это время пришло плоды горькие, и в настоящее время нет того идиота, который бы не сознавал этого. Но, отвергая девиз в его наготе, мы тем не менее отнюдь не отказываемся от его сущности. Мы придумываем бесчисленное множество перегоронок, которыми и делим жизнь на две совершенно независимые друг от друга половины: заповедную и дозволенную. В дозволенной половине отводится место всем мелочам и подробностям жизни, то есть всему тому, что в действительности не дает никакого удовлетворения, а только обманывает; в заповедной половине прячется все то, что действительно развязывает руки и дает человеку возможность сознавать себя человеком. И когда затем нам говорят, что девиз «не твое дело» нимало не утратил своего господствующего значения, мы оскорбляемся, негодуем, перечисляем по пальцам и кричим: анархия!

А анархия – то в том именно и заключается, что ум человеческий утрачивает способность обобщений и весь погружается в тину мелочей и подробностей. Охваченный со всех сторон миниатюрнейшими интересами, он находится под игмом непрерывающегося оболъщения, живет не действительно здоровою жизнью, а жизненным маревом. Нет широких убеждений, нет великих целей, нет стремлений и идеалов – отовсюду выглядывают жалкие обрывки, стоящие особняком, не соединенные между собой никакою связующей идеей.

Два фрагмента третьей редакции

1

Недавно один известный адвокат дал очень удачную характеристику тех уличных воззрений, которые до сих пор считаются у нас высшим критерием для оценки человеческой деятельности. «У каждого из нас, – сказал он, – была такая пора, когда он смотрел титаном, готовым весь мир обнять, пересоздать и превратить в рай; потом пора эта проходит, титан возвращается к обыденным занятиям и становится добродушным филистером». Определение это очень верно, не в том, конечно, смысле, что оно разделяет человеческую деятельность на две неизбежные половины: одну – титаническую, другую – филистерскую, и делает последнюю как бы венцом всей жизни (если б это было так, если б титанство было только ступенью к филистерству, то на это явление самый преисполненный страхом человек не стал бы смотреть серьезно: пускай, мол, молодые люди потитанствуют, все равно все там будут!), а в том отношении, что чрезвычайно метко выражает те взгляды, которые на толкучем рынке пользуются безграничным кредитом. Момент, когда человек сознает себя титаном, когда он мечтает «превратить мир в рай» – это момент, когда общество вправе ожидать от него всевозможных бесчинств; напротив того, момент, когда человек, познав тщету общих идей и общих интересов, становится филистером – это момент, когда общество с уверенностью может возложить на него свои упования. Свежее, сильное, самоотверженное – это погибель; гнилое, дряблое, лукавесебялюбивое – это оплот. Здесь вся сущность уличной доктрины и базис для дальнейших оценок <i>определений. Если вы будете сообразоваться с этой доктриной – вы будете почтены; если вы не хотите сообразоваться, то вольны сделать и это. Но помните, что «не сообразоваться» можно только под личную за сие ответственностью. Не горячитесь, титанствуйте понемножку, и притом так, чтобы можно было заранее хоть приблизительно определить момент вашего превращения в филистера. Попробуйте потитанствовать не в меру, и вы увидите, что вам даже не дадут возможности своевременно увенчать свою жизнь превращением в добродушного филистера.

2

Так бы оно, конечно, и было, если б ловкие люди и тут не сумели отыскать для себя лазейку. Все дело, как мы сказали, в том, чтоб человек массы понял, где находится его интерес, чтоб он не механически только пользовался освобождением от уз, а сознал как значение этого освобождения, так и источник, из которого оно к нему пришло. Что момент этого сознания, тот момент, когда человек получит возможность критически относиться к насущной действительности и отсюда делать посылки к будущему, рано или поздно наступит для него, – это не подлежит никакому сомнению; но нельзя не сознаться, что путь, который в этом случае ему предстоит совершить, есть путь в высшей степени трудный и загроможденный всякого рода преткновениями. Дело в том, что общие задачи человечества встречаются здесь с задачами ловких людей, имеющими характер совершенно противоположный. Ловкие люди знают, что момент сознательности будет моментом суда над ними, но сверх того они знают и то, что покуда этот момент не наступил, они все-таки остаются полными властелинами той безапелляционной исторической силы, которая одних призывает к действию, других устраняет от нее. И вот с пособием этой силы

Неоконченное. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru навстречу человеку массы идет весь арсенал консервативно-анархических орудий: и систематическое утверждение невежества, и прямая угроза, и хитрость, и... даже либерализм. А так как к последнему средству наши патентованные анархисты начали с недавнего времени прибегать с особенною охотой (это и немудрено, потому что даже для них уже стало ясно, что толпа все-таки смотрит на либерализм благосклоннее, нежели на простое оглушение), то здесь нелишне будет рассмотреть, в чем заключается сущность этого пресловутого консервативного либерализма, результатом которого, по мнению ловких людей, должно быть общее успокоение.

Консервативный либерализм – это уступка подробностей и мелочей; это прогресс, изготовляемый в виде обрывков, плавающих там и сям на обширной поверхности жизни; это не прямой и голый отказ, но отказ, сопровождаемый изворотом и заключающий в себе спекуляцию на человеческое легкоеверие.

Было время, когда наше общество не имело другого девиза, кроме пресловутого «не твое дело». Девиз этот прилагался в самых широких размерах, и притом с такою ясностью, которая не допускала даже недоразумений. «Не твое дело», – говорилось всем и каждому, и все и каждый понимали значение этого девиза и сообразно с ним поручали свои души и тела тому Неизвестному и Непредвидимому, от которого ни оборониться, ни спастись невозможно. Коли хотите, это был своего рода порядок, правда похожий на сатурналию, но все-таки порядок, которому наивно удивлялись даже люди, не чуждые порядков иных. Все, как один! правой – левой! вперед, назад! – картина такого единства действия соблазняла. Сатурналию разгадали уже позднее, когда созрели плоды этого диковинного порядка, когда пришлось их вкушать и когда они оказались гнилыми и отвратительными на вкус. Это была минута откровения. Многие тогда догадались, что порядок, имеющий в своем основании девиз «не твое дело», хорош только до тех пор, покуда внешние обстоятельства разрешают обществу спокойно гнить и покуда оно само не увидит, что гниение только по наружности спокойно, но в сущности влечет за собой всякого рода унижения и обиды, которые рано или поздно приходится выносить на своих боках. Но, добравшись до этой истины, догадливые люди, вместо того чтоб серьезно анализировать основы насущного положения вещей и обратиться к основам иным, впали в сентиментальность, начали целоваться и обниматься друг с другом и ударились в мелочи и подробности, как будто факт всецело разлагающийся может быть сплочен частными спайками и заклепками.

Это была ошибка со стороны догадливых людей, хотя нельзя не сознаться, что впасть в эту ошибку было весьма нетрудно. Откуда вышли наши догадливые люди? – они вышли непосредственно из того порядка, в основании которого лежало «не твое дело». Но такого рода порядок имеет ту особенность, что он не всего человека ошеломляет, а губит в нем лишь общий смысл жизни, делает его неспособным к обобщениям. Человек перестает быть живым членом общества, но право прозябания, право жизненных отпращиваний не отнимается от него. У него есть отдельный угол, в котором он даже может временно схорониться от оглушений. Время освящает для него этот угол, делает его мерилем всех желаний, и надежд в будущем. В пределах его он чувствует нечто похожее на самостоятельность, за порогом – не видит ничего, кроме людей, производящих порядок и, разумеется, принимающих соответственные сему меропр<иятия>. Понятно, что для него это единственная жизненная подробность, с которою он мирится вполне искренно, и что представление о ее незатейливых удобствах он переносит с собой всюду, куда бы ни кинул его случай или житейская нужда. Не широких удобств общественности требует он от жизни, а мелких и отрицательных удобств домашнего очага, вполне характеризующихся выражением: «я никого не трогаю, не трогайте и меня». Находясь в дороге, он думает: хорошо, кабы не попался встречу насадитель порядка, в лице исправника, кабы не подломился мост, кабы в лесу не напали лихие люди, кабы не притеснил станционный смотритель, кабы поздорову воротиться домой. На базаре он думает: хорошо, кабы не попасться на глаза насадителю порядка, в лице квартального, кабы не обсчитал купчина, кабы не засадили в кутузку, кабы поздорову воротиться домой. Идя в суд, он думает: хорошо, кабы рассудили по-божески, кабы не засудили вконец, кабы поздорову воротиться домой. Все эти подробности мелькают в голове человека беспрерывно, но только подробности, и ничего больше. Связи, существующей между ними, он обнять не может, зависимости их от иного, высшего порядка – тоже. Он не прочь воротиться домой поздорову, но как устроить это – он даже не пытается формулировать, ибо девиз «не твое дело» столь ясен на этот счет, что даже не допускает никаких попыток в этом смысле.

Представьте же себе теперь этого человека, с головы до ног пропитанного доктриною, заключающеюся в девизе «не твое дело», и в то же время

Неоконченное. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru догадывающегося, по отвратительному вкусу ее плодов, что девиз, которым он до сих пор руководствовался, есть девиз фальшивый. Что прежде всего представится его уму в первую минуту, как только он почувствует себя свободным от давившего его кошмара? Очевидно, ему представятся те подробности, с которыми он вырос и на которых было утверждено его воспитание. Он припомнит все, что его стесняло, кололо и удручало, и на всякую отрывочно припоминаемую подробность попытается наложить заплату. И будет таким образом починивать то в одном, то в другом месте, без системы по мере припоминания, покуда не встретится лицом к лицу с всеобщей неудачей. Да и тогда он вряд ли отрезвится, а скорее всего, свалит вину на новость предприятия и на собственное неискусство в деле починок.

Вот тут-то, в этом бесплодном бродяжничестве по полю подробностей, и настаивает общество так называемый консервативный либерализм. «Вы жалуетесь, – говорит он, – что вам на каждом шагу говорили «не твое дело», что вы не могли выйти из дому, не опасаясь, чтоб вас не настиг насадитель порядка, не обсчитал купчина, не засудил суд. Хорошо, мы устроим все это для вас таким образом, что вам придется только пожинать плоды. Мы припугнем исправника, заберем в руки купчину и дадим судей, которые изумят мир благородством манер. В одно прекрасное утро вы проснетесь, и все кругом вас будет первый сорт. Но затем живите скромно, помните, что требования ваши удовлетворены, и не явите себя неблагодарными».

Что же такое, однако ж, в сущности, эти подробности, об исправлении которых так радеют наши либеральные консерваторы? Подробности – это такие эпизоды общественной жизни, которые возникают из условий данной минуты, затем изменяются, развиваются или упраздняются тоже согласно с условиями другой данной минуты, и совокупность которых не только немислимо устроить наперед, но даже и предвидеть нельзя. Это не существенное основание жизни, а только одна из внешних ее принадлежностей, которая вырабатывается жизнью и ею же и устраивается. Дайте жизни широкое и разумное основание, подробности организуются сами собою, сообразно с главными основами жизни. Вот естественный ход вещей, и глубоко заблуждаются те, которые к подробностям хотят применить общие основания. Самый лучший исправник все-таки человек, который имеет свое мирозерцание, может не понимать известных явлений и вообще на каждом шагу впадать в ошибки. Но, кроме того, чтобы основать известный строй вещей на одной уверенности в добросовестности того или другого общественного деятеля, нужно предположить в нем такое напряженное состояние нравственных и духовных сил, которое ни на минуту не изменяло бы самому себе. А между тем опыт представляет нам самые убедительные примеры совершенно противоположного. Да оно и в природе вещей. Как бы ни был нестомчив исправник, не может же он ежеминутно ловить неблагонадежных и неблагонамеренных людей. Подобно прочим смертным, он чувствует потребность отобедать, погулять, выспаться. Кто же во время этих естественных жизненных отправлений будет исправлять его обязанности? Или же на сей раз временно допускается анархия?

Таким образом, когда либералы-консерваторы делают уступки относительно мелочей и проходят молчаливо главные основания жизни, они поступают совершенно наоборот естественному ходу вещей. Понятно, что и результат бывает совершенно обратный, так что иное либеральное предприятие, по наружности сулящее бог весть какие последствия, в сущности разрешается совершенно ничем. Прекраснейший судья может, сколько ему угодно, оставаться прекраснейшим судьей, и ежели он очень наивен, то будет не без горестного изумления замечать, как прекраснейшие дела возникают и разрешаются в обществе, не заглядывая в его камеру. Если же он не наивен, то поймет, что прекраснейшим судьей ему даже быть невозможно. Точно такая же участь ожидает и прекраснейшего исправника, если он, в разгаре своих прекрасных действий, вдруг услышит простое и короткое слово: довольно! На первых порах он, быть может, усомнится, но подтверждение не замедлит, а за ним, конечно, не замедлит и тот акт, который так верно характеризуется русской поговоркой: на все махнуть рукой.

Да; «махнуть на все рукой» – вот единственный исход всевозможных либерально-консервативных затей, и, к сожалению, мы собственным опытом испытываем на себе всю тяжесть такого исхода. Нет человека, сознательно относящегося к жизни, который не сказал бы себе это, который не смотрел бы на проходящие перед его глазами факты, как на марево. Исключение составляют или люди, специально занимающиеся уловлением анархии, или же нищие духом, которые, погрязши в подробностях, совершенно утратили способность возвышаться до общих идей. Для первых – это вопрос самозащиты, вопрос ограждения их личных интересов от наплыва действительно либеральных стремлений; для вторых – это просто вопрос

Неоконченное. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru умственной их ограниченности, на которую не может действовать даже неуспех их усилий.

Поэтому, когда говорят, что уступка мелочей и подробностей есть не что иное, как спекуляция на человеческое легкомыслие, что это тот же отказ, но сопряженный с изворотом; когда утверждают, что при господстве подобных уступок девиз «не твое дело» нимало не упраздняется; когда, наконец, доказывают, что в изобилии мелочей и подробностей заключается злейшая из всех возможных анархий, ибо человек, охваченный свитой миниатюрных интересов, теряет из вида великие жизненные цели и принимает за действительное благо то, что, в сущности, составляет лишь ничтожнейший атом его, не имеющий силы, благодаря своему уединенному положению; когда говорят, утверждают и доказывают все это, тогда говорят, утверждают и доказывают истину, уяснение которой составляет самую насущную потребность общества, утратившего представление об общих основаниях жизни.

А эта истина влечет за собой другую истину: указание действительных анархистов, разрушителей и попирателей, в лице либералов-консерваторов (увы! нынче у нас уж нет просто консерваторов!), идущих наперекор естественному ходу жизни, подрывающих ее истинные основания и отдающих общество в жертву всевозможным колебаниям и страхам. Вот единственные разрушители, которых общество должно остерегаться, единственные анархисты, на которых оно должно указывать как на врагов своих, единственные утописты, вращающиеся в пустоте и бессильные когда-либо выбиться из нее. У них одних нет руководящих начал, для них одних будущее подобно бездонным хлябям, преисполненным неизвестности и тьмы.

И когда эти праздные и самолюбивые мечтатели одерживают, благодаря горькой случайности, верх в обществе, тогда зло делается единственным двигателем человеческих действий и ненависть – единственным регулятором общественных отношений.

ИЗ ДРУГИХ РЕДАКЦИЙ
СКАЗАНИЕ

О СТРАНСТВИИ И ПУТЕШЕСТВИИ ПО РОССИИ,
МОЛДАВИИ, ТУРЦИИ И СВЯТОЙ ЗЕМЛЕ
ПОСТРИЖЕННИКА СВЯТЫЯ ГОРЫ АФОНСКИЯ
ИНОКА ПАРФЕНИЯ[10]

В 4-х частях. Издание второе с исправлениями. Москва.

Мрак, обнимающий многообразные проявления русского духа, начинает мало-помалу рассеиваться; благодаря плодотворной, хотя, быть может, и не столь блестящей деятельности наших писателей, мы в течение немногих последних лет успели весьма близко познакомиться с внутреннею жизнью русского народа, и если это знакомство еще не вполне достаточное, то нельзя не иметь крепкой надежды, что молодая русская литература, став однажды на твердую стезю изучения русской народности, не собьется с нее и довершит начатое дело. Достаточно указать на литературные попытки гг. Тургенева, Писемского и Островского и в особенности на «Семейную хронику» г. Аксакова, чтобы убедиться, что последние годы должны занять весьма почетное место в истории русской литературы. Разработка разнообразных сторон русского быта началась еще очень недавно, и между тем успехи ее не подлежат сомнению. Делается очевидным для всякого, что потребность познать самих себя, со всеми нашими недостатками и добродетелями, вошла уже в общее сознание: иначе нельзя объяснить ту жадность, с которою стремится публика прочитать всякое даже посредственное сочинение, в котором идет речь о России. Не далее как лет десять тому назад книжки журналов безнаказанно наполнялись переводными статьями и компиляциями, в которых русского были только слова; в настоящее время можно утвердительно сказать, что существование журнала, составленного таким образом, было бы весьма печально. И это стремление изучить самих себя, воспользоваться почти нетронутою сокровищницею народных сил, чтобы извлечь из них все, что может послужить на пользу, заметно не только в сфере литературы и науки; оно проникло в практическую деятельность всех слоев нашего общества, и всякий, кого сколько-нибудь коснулся труд современности, кто не празднично живет на свете, волею или неволею, естественным ходом вещей, должен убедиться, что если мы желаем быть сильными и оригинальными, то должны эту силу и оригинальность почерпать в той стране, на которую доселе, к сожалению, мы смотрели равнодушными и поверхностными глазами заезжего туриста.

Перед нами лежит сочинение, которое по значению своему в сфере разъяснения внутренней жизни русского народа, мы не обинуясь ставим рядом с «Семейною

Неоконченное. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru хроникой» г. Аксакова. Многим, быть может, странным покажется такое сопоставление двух сочинений, которые и по предмету и по изложению не могут иметь между собою ничего общего. В действительности же эта невозможность только кажущаяся, ибо и г. Аксаков, и многоуважаемый отец Парфений, конечно, в различных сферах, имеют в виду одну и ту же цель – правдивое изображение известных сторон народного быта, известных народных потребностей; оба они одушевлены одною и тою же любовью к своему предмету, одним и тем же знанием его, вследствие чего и самое изображение у обоих приобретает чрезвычайную ясность и полноту и облекается в художественные формы.

Отец Парфений, по рождению своему, принадлежит к сословию, поставленному далеко не в выгодные условия относительно умственного и нравственного развития, и между тем такова сила убеждения, такова мощь истинно страстной и любящей природы, что одних этих данных достаточно было, чтобы сделать книгу его в высшей степени интересною даже для людей, непричастных богословским прениям.

Участие, возбуждаемое «Сказанием», делается еще более понятным, если принять в соображение, что главный интерес его заключается не столько в защите известных богословских положений – для того, чтобы достойно оценить достоинство и значение последних, необходимо быть специально к сему приготовленным, – сколько в том, что оно делает читателя как бы очевидцем и участником самых задушевных воззрений и отношений русского человека к его религиозным верованиям и убеждениям. Одним словом, предметом сочинения о. Парфения служат: паломничество и раскол, два явления, которые и по настоящее время не утратили своего значения в русской народной жизни. Почтенный автор, будучи сам смолоду раскольником, видел лицом к лицу все тайные и явные условия, которые объясняют возможность существования раскола и делают это явление фактом пророческим; он с юных лет был обуреваем жаждою внутреннего духовного просвещения, с юных лет искал разрешить сомнения, тяготившие его душу, и только пройдя через все искушения, через все испытания, достиг наконец того состояния, в котором человек может смотреть на свет и истину глазами невооруженными. Автору, таким образом приготовленному и обладающему сверх того большим запасом того внутреннего жара, который в избранном предмете заставляет находить его лучшую, симпатичнейшую сторону, нельзя не верить на слово: воспроизводимые им образы, описываемые им дела красноречивее всяких математически точных доказательств говорят в пользу того дела, на защиту которого он вооружился.

Нельзя сказать, чтобы наша духовная литература была бедна сочинениями, направленными против заблуждений «глаголемых старообрядцев». Из новейших мы можем в особенности указать на сочинения высокопреосвященного Григория, нынешнего митрополита С. П.-бургского, [11] и преосвященного Макария, епископа Винницкого. [12] С догматической стороны, в сочинениях этих так называемое старообрядчество опровергнуто на всех пунктах, с замечательною ясностью и знанием дела; очевидно, что в расколе, кроме религиозных догматов, есть нечто такое, что дает ему живучесть и силу, несмотря на всю неопровержимость доводов, выставляемых против него святителями православной церкви. Это «нечто», эту особенную силу заставляет нас предполагать и о. Парфений, когда рассказывает нам на стр. 97–130 1-го т. своего сочинения прение на соборе, созванном в молдавском раскольническом селении Мануиловке против него и друга его Иоанна за уклонение из раскола. Обличения, говоренные автором, до такой степени не только ясны и просты, но, что важнее всего, согласны с свидетельством Св. писания и отеческих преданий, что нет материальной возможности не согласиться с ними, – и между тем каков оказался результат собора? Тот, что «некоторые воздыхали и плакали, а некоторые распыхались сердцами и роптали», и решили наконец все-таки на том, чтобы с уклонившимися из раскола никому не разговаривать и не иметь никакого сообщения.

Подобно сему, многозначительны и следующие два случая, рассказанные почтенным автором. Первый имел место в стародубских раскольнических монастырях, куда автор, тогда еще раскольник, пришел в чаянье найти таких для себя наставников, которые «проходят строгую иноческую жизнь» и которые «победили страсти и достигли совершенства». На вопрос странствующего о таких подвижниках стародубские раскольники с полною откровенностью отвечают: «Брат! далеко ты лезешь! Мы про страсти и про совершенство почти и не слышали, а в нынешние времена какие дары духа святого?» Другие советовали жить как живет или указывали на таких старцев, которые оказывались или малограмотными или вовсе безграмотными и пользовались уважением только потому, что «ни с кем не пьют, не едят, и всеми гнушаются, и всех хулят, и всех осуждают, и даже своих

Неоконченное. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru единовѣрных; и всѣх считают грѣшниками, а только себя святыми; и толкуют день и ночь, а о иноческой жизни и не знают, в чем она состоит». Второй случай имел место в Константинополе, где автор встретился с некоторыми раскольническими монахами, проживавшими вместе с ним в Молдавии в Мануиловском скиту. О. Парфений повел их в патриаршую церковь и указал на древнюю икону пресвятыя богородицы, на которой благословляющая рука пречестнаго младенца изображена именованно. Древность иконы не подлежит сомнению: она принесена была из Иерусалима царицею Еленою, потерпела много от огня и иконоборцев, ввержена была в море и чудесно спаслась; свидѣтельство такой иконы не могло быть, следовательно, сомнительным для раскольников, и между тем на деле оказался результат совершенно противный. «Они (раскольники) подошли к ней, – рассказывает о. Парфений, – и стали смотреть; но мой знакомый монах Дорофей вдруг отскочил от нее и, переменявшись в лице, с дерзостию сказал: «Не только мы этой иконе не поверуем, но если бы и сам Христос нам явился и сказал, что эта церковь правая, и то не поверуем». Эти три случая заставят призадуматься всякого. Очевидно, что раскольники не только не могут выдерживать состязания о вере с лицами, которые могут доказать им неправоту их понятий по сему предмету, но даже не хотят допускать подобные состязания из опасения, что могут «посрамиться». Но там, где есть в них этот страх обличения в ложном толковании догматов веры, не может быть, чтобы рядом с этим страхом не возникло сомнение и насчет правоты собственнаго убеждения, и если это последнее отстаивается несмотря ни на что, то очевидно, что причина такого упорства должна лежать не в самом этом убеждении, а, как мы сказали выше, в целом кругѣ иных понятий и явлений, составляющих для главнаго, выставляемаго напоказ и, так сказать, официалаго убеждения нечто если не совершенно постороннее, то, во всяком случае, не существенно с ним связанное.

Предпринимая разбор сочинения отца Парфенія, мы заранее считаем нужным оговориться, что не можем и не считаем себя вправе касаться той стороны его, которая заключает в себе защиту святой православной церкви против раскольников. Мы не признаем себя достаточно приготовленными для такой оценки, и притом работа православия составляет для нас фактъ столь несомненный, что распространяться об нем значило бы только испестрить предлагаемую статью ссылками и выписками из сочинений лиц, специально посвятивших себя делу обличения неправды раскольников. А потому мы ограничиваемся здесь лишь упоминанием двух названных нами сочинений, а также сочинения протоиерея Андрея Иоаннова «О стригольниках», о котором мы, впрочем, предоставляем себе поговорить впоследствии подробнее, по тому уваженію, что оно, во многих отношеніях, представляет разительное сходство с «Сказаніем» о. Парфенія.

В последнее время сложилось много самых разнообразных воззреній на русскую народность. Все они могут быть приурочены к трем главным категориям: воззренія сонные, воззренія идиллическіе и воззренія раздражительные или жѣлчныя. Сонное воззрѣніе смотрит на народ, как на театральную толпу, которая в известных случаях является на помост, чтобы прокричать нужную по ходу пьесы фразу и потом удалиться в порядкѣ со сцены, – или как на кордебалет, отплясывающій где-то у воды. По традиціям этого воззренія, русский мужик непременно должен произнести несколько раз слова: «кормилец», «шея лебединая, брови соболиныя» и т. д.; более смелые отваживаются до «тутотка», «болезный» и пр. По тем же традиціям, русский народ необходимо обязан называться «добрым русским народом» и являться на сцену с веселым видом и простосердечіем несказанным, потому что в противном случае воззрѣніе может огорчиться. Представителями такого воззренія служат наши драматическіе писатели, которых невинные труды доселе украшают сцены наших театров. Воззрѣніе идиллическое видит в русской народности проявленіе всѣх человѣческих совершенств, наделяет его жаждою внутренняго просвѣтленія, семейными добродетелями, смиреніем, кротостію, благодушіем и всеми качествами, которые приводят в результатѣ к благоденственному и мирному житію. По-видимому, это воззрѣніе очень веселое, но веселость эта только наружная, ибо в существѣ своем оно покрыто самым мрачным колоритом. Эта жажда внутренняго просвѣтленія есть не что иное, как совершенное порабоженіе отдельной человѣческой личности в пользу лица коллективнаго, или лучше сказать, самое это воззрѣніе есть не что иное, как пропаганда какого-то общиннаго аскетизма. Само собою разумеется, что при таких условіях жизнь утрачивает свою цельность и делается лишь подвигом послушанія; общество, в котором живет человек, перестает быть средою, представляющею наиболее споспешествующих условій к удобнейшему удовлетворенію его законных потребностей; напротив того, оно является тесно замкнутым кругом, который все отдѣльные личности, его составляющіе, порабождает своему отвлеченному эгоизму, в котором до потребностей отдѣльнаго лица никому нет надобности, где всякій должен жертвовать своими живыми интересами в пользу интересов

Неоконченное. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
искусственных. Цель этого воззрения, по-видимому, заключается в торжестве общества над личностью, в подчинении последней первому, и между тем – странное дело! – сторонники этого воззрения незаметным, но весьма логическим путем пришли к оправданию самого дикого, самого необузданного торжества личности. Приняв за основание всякого нравственного подвига совершенное самоотвержение, нельзя, однако же, не согласиться, что как бы оно ни поработило частную личность в пользу личности высшей и коллективной, все-таки первая, живя в обществе и составляя одну из деятельных единиц его, невольным образом вынуждена будет предъявить свои эгоистические притязания. Как бы ни предусмотрительно, как бы ни искусственно была придумана форма общежития, в которую мы хотели бы втянуть личность человека с целью сделать ее безгласною, каким бы духом самоотвержения ни были одушевлены самые личности, согласившиеся принести себя в жертву общежитию, все-таки хоть в слабой степени, хотя в мелочах, личный принцип найдет для себя исход и возможность протестовать против подавляющих притязаний общежития. Очевидно, следовательно, что порабощение частной личности в пользу общины, мира, есть только половина того нравственного подвига, на который осужден человек, очевидно, что тут нет еще полного аскетизма, ибо как бы мы ни дисциплинировали волю человека, живущего в обществе, все-таки самое поверхностное понятие о значении последнего предполагает уже существование каких бы то ни было отношений, в которых отдельная личность непременно должна выразиться. Итак, община не представляет в себе достаточных условий для достижения того нравственного совершенства, той полной свободы духа, к которой должен стремиться человек. Где же искать таких благоприятных условий, где найти ту среду, в которой человек являлся бы творцом всех своих ощущений, всех своих радостей, всех своих потребностей, всей своей внутренней жизни, где человек становился бы независимым не только от внешнего мира, прелестного и многомятежного, но, так сказать, от самого себя или, по крайней мере, от своей чувственной природы, которая также громко предъявляет свои права? Очевидно, что эта среда находится в лесу, в ущелиях, пещерах и что переход от общества к вертепу делается весьма логически. И опять-таки спешим здесь оговориться, дабы слова наши не были подвергнуты недобросовестным толкованиям, что слова наши вовсе не касаются отдельных стремлений тех исключительных и страстных натур, которые высшее блаженство свое видят в постоянном и безусловном порабощении личности высшим духовным принципам. Такого рода явления не только почтенны сами по себе, но будут всегда служить неопровержимым доказательством торжества духовной природы человека. Но мы открыто восстаем против поползновения приурочить целый народ к такому принципу, который, будучи возведен на степень национального характера, является принципом совершенно противообщественным.

Мы с намерением остановились на воззрении, которое назвали мрачно-идиллическим. Воззрение это до сего времени постоянно ставило спор о русской народности на такую почву, на которой так упорно и с таким успехом держится известная французская газета «Univers». Преследуя своими насмешками и даже ненавистью все приходящее с Запада, поборники идиллического воззрения, быть может, бессознательно, переносят на русскую почву антисоциальные воззрения Louis Veillot и комп. Воззрение это вовсе не новое и на русской почве. Прежде нежели оно формулировано нашими Тирсисами, оно уже жило в безобразных понятиях русских раскольников, которые убеждены, что спасение возможно не иначе как под условием жительствова в горах, вертепах и расселинах земных, под условием плачей бесчисленных.

Третьего рода воззрение заключается в том, что обладатели его смотрят на русскую народность как на что-то растленное, из чего, несмотря ни на какие усилия, не может произойти ничего положительного и плодотворного. Подобно тому как идиллисты считают долгом при всяком удобном случае восторгаться и расплываться искусственно при одном названии русского, раздраженные во всяком явлении русской жизни видят следы обскурантизма и убеждены, что не стоит защиты такое явление, которое само себя защитит не может.

Очевидно, что такие крайние воззрения могут существовать только в молодом обществе, которого жизнь еще не сложилась в определенные формы. Общество зрелое и сложившееся бывает более нежели умеренно на воззрения; оно берет жизнь в том виде, как она есть, не приурочивает ее ни к каким воззрениям, для которых еще не настало время, и стремится только изучить эту жизнь во всех ее мельчайших подробностях. Поняв свою обязанность в этом скромном виде, оно предоставляет будущим потомствам сделать выводы из фактов, набранных с такою настойчивостью и трудом; оно не увлекается воззрениями и системами именно потому, что прежде всего стремится приготовить матерьялы, без которых всякое воззрение есть не что

Неоконченное. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
иное, как праздная болтовня.

Мы, с своей стороны, сознаемся откровенно, что смотрим на нашу народность без всяких предубеждений. Она нравится нам как потому, что мы видим в ней факт живой и, следовательно, имеющий право на жизнь, так и потому, что мы чувствуем самих себя причастными этой народности. Но мы не считаем себя вправе делать какие-либо решительные заключения о характере ее и тем менее заглядывать в будущее, которое ее ожидает; мы находим, что для такого прозрения у нас еще слишком мало фактов, что в самой жизни нашего народа так много еще заметно колебаний, что ни под каким видом нельзя определительно сказать, на котором из них она остановится. Будет ли она развиваться самобытно и своеобразно или подчинится законам развития, общим всем народам, – для нас это вопрос темный, хотя сознаемся, что последнее предположение кажется нам более основательным.

Все сказанное выше достаточно определяет точку зрения, с которой мы смотрим на «Сказание» отца Парфения: для нас оно имеет интерес этнографический. Выше мы объяснили, что предметом «Сказания» служат два капитальные явления русской жизни: паломничество и раскол.

Те, которые видят в паломничестве явление исключительно русское, весьма ошибаются. Жажда посетить места, освященные подвижничеством и страданиями Спасителя, а равно учением и деятельностью святителей и подвижников христианства, не только была явлением, общим всем народам Западной Европы, но и составляла, в известную эпоху, все содержание их истории. Конечно, в настоящее время это явление в Западной Европе совершенно утратило уже прежний характер всеобщности, но для нас достаточно и того, что Западная Европа перешла через него, чтобы сделать из этого тот вывод, что Россия причастна этому явлению отнюдь не в сильнейшей степени, как и прочие народы христианские. Нам скажут, быть может, что на Западе это явление было искусственно возбужденное, что оно явилось как бы результатом высшей политики пап, в России же оно выразилось совершенно непосредственно. Но это несправедливо, ибо соображения пап не имели бы тех блестящих результатов, если бы в основание их были приняты не действительные, а искусственные потребности века. Толпе, которая шла за Петром Пустынником, не было дела до чьих бы то ни было высших политических соображений: она шла одушевляемая действительным энтузиазмом к предпринятому святому делу освобождения гроба господня, которое так вполне отвечало всем духовным потребностям того времени; она смотрела на этот подвиг как на исключительную цель всех стремлений жизни, нисколько не доискиваясь посторонних пружин, двигавших этим делом.

Итак, для нас это факт несомненный, что религиозный энтузиазм не составляет принадлежности одной какой-либо народности, а есть явление общее всем народам в известную эпоху их жизни. Что в России явление это и доньше не утратило своей силы, в этом удостоверяют нас бесчисленные толпы богомольцев, непрерывно тянущиеся по дорогам к святым местам русским. Нет сомнения, что не праздность и не простое любопытство влечет эти толпы к местам, дорогим сердцу всякого русского; нет сомнения, что здесь кроется побуждение более чистое, более свежее, то самое побуждение, которое заставляет сердце юноши с большею теплотой и сочувствием отзываться на вопросы мира нравственного, нежели на требования обыденной материальной сферы. В одном уже стремлении своем к чему-то отвлеченному, безграничному, стремлении, по самому своему существу безотчетном, в одной этой вере в любовь всеисцеляющую и в истину всеразрешающую юный человек находит и самую любовь и самую истину, и разрешение всех своих сомнений и сладостное успокоение от всех тревог ума и сердца.

Разъяснению этой-то могущественной, юношески светлой потребности любви и истины посвящает о. Парфений свое сочинение. Будучи сам причастным этой потребности, нося ее в своем сердце с самого детского возраста и целую жизнь проводя в отыскании, часто трудном и бесплодном, средств для удовлетворения ей, он находит, для изображения своего предмета, краски, поражающие самого обыкновенного читателя своею высокою поэзией, своею искренностью и свежестью. Воспитание и все обстоятельства, в которых возрос почтенный автор, сложились таким образом, чтобы возжечь в нем тот светлый огонь веры, который поддерживал его в многотрудных странствиях. Названные родители его были русские раскольники, поселившиеся в Молдавии; первоначальное воспитание автора было, следовательно, основано на правилах раскола, что не помешало, однако же, ему познать истинный страх божий и исполниться того ненасытного стремления к разумению вечных истин Христовой веры, которое помогло преодолеть все препятствия, встречавшиеся на

Неоконченное. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru пути к такому уразумению. В самом деле, если мы примем в соображение, что с самых детских лет вокруг его слышались только постоянные жалобы на мир «суетный, прелестный и многомятежный», которому противопоставлялись картины «тихих и безмолвных мест, пустынь, гор и вертепов», в которых люди, «отложив всякое житейское попечение, посвятили себя на служение единому, истинному своему господу богу, и воспевают его день и ночь»; если мы припомним, что подобные картины не случайные только слова, а составляют в известной среде постоянное правило, до такой степени действительное, что оно как бы слилось с жизнью, то нам сделается понятным это страстное желание «переплыть многоволнистое и страшное житейское море, наполненное всяких соблазнов и искушений, и препроводить необузданную юность, чтобы соблюсти чистоту душевную и телесную».

И вот, действительно, едва достигнув совершенного возраста, автор немедленно отправляется в странствие «на всю временную жизнь». Надо взвесить беспристрастно последние слова, чтобы вполне оценить все глубокое значение их, чтобы не раз задуматься над громадностью подъятого автором подвига. Тут, в этих немногих словах, слышится полное отречение не только от всех житейских радостей, но даже от самого себя, от своей человеческой воли, и всецелое порабощение всего своего существа идее сурового долга, со всеми его лишениями и непрерывным трудом. Понятое в этом смысле решение автора принимает действительно все размеры подвига, исполнение которого под силу только избранным личностям. И мы все, мы, люди, принадлежащие, по обстоятельствам, к миру суетному и, следовательно, стоящие вне этой страстной струи, которая проникает почтенного автора, мы тем не менее сочувствуем его горячему убеждению и с любовью и непрерывающимся интересом следим за его странствием, ибо в каком бы ни стояли мы отдалении от его убеждений, они оказывают на нас чарующее действие уже по одному тому, что в основании их лежит искренность и действительная потребность духа. Мы далеки от того, чтобы разделять воззрения почтенного автора на «суетный» мир, и между тем готовы сочувствовать ему в его отречении, в его искании тихих и безмолвных мест, в которых человек живет, отложив всякое житейское попечение. Причина этому очень понятна: нам так отраднo встретит горячее и живое убеждение, так радостно остановиться на лице, которое всего себя посвятило служению избранной идее и сделало эту идею подвигом и целью всей жизни, что мы охотно забываем и пространство, разделяющее наши воззрения от воззрений этого лица, и ту совокупность обстоятельств, в которых мы живем и которые сделали воззрения его для нас невозможными, и беспрекословно, с любовью следим за рассказом о его душевных радостях и страданиях.

Убеждение, возведенное на такую степень, находит для выражения себя и слово, соответствующее этой энергии. Нельзя без особенного чувства умиления читать рассказы почтенного автора о жизни, проведенной им в пустынях, и о подвижниках, которыми наполнены эти пустыни, эти леса, где не бывала нога человеческая, где люди живут подобно птицам небесным, не зная, что обещает завтрашний день, но твердо веруя, что этот завтрашний день не обманет их, а напитает подобно всем прошлым дням подвижнической их жизни. Считаю нелишним, чтобы познакомить читателя с воззрением автора на жизнь в пустыне, сделать здесь выписку из его поэтического описания местности, в которой находится скит, служивший некоторое время убежищем для нашего странствующего. Скит этот расположен внутри Карпатских гор, в такой непроходимой пустыне, что трудно до него и пешему дойти.

«Проживая в том скиту немалое время, я часто ходил и странствовал по великим горам Карпатским, и по высоким холмам, и по непроходимым лесам; и много утешался, и радовался, и благодарил господу бога моего, царя небесного, что привел меня в такую тихую и непроходимую пустыню. Ибо совершенно закрылся от моих очей суетный и многомятежный мир со всеми своими прелестями и соблазнами. По Карпатским горам мало человеческая нога проходит; разве только одни те, которые ловят зверей. Весь Карпат покрыт великими и непроходимыми лесами и испещрен непрерывными горами и холмами. Внутри гор нет никакого жительствова, ни дорог. Ежели сойти между гор в долину, то и солнца мало увидишь; ежели взойти на высоту гор, то гора горы выше, и холм стоит на холме. Над всеми же горами Карпатскими стоит, как отец выше детей своих, славная гора Шаглуя с плешивой своей головою. Сколько ни высоки горы Карпатские, но против Шаглуя ничего не значат: видно его через горы за 200 подобно как за 10 верст. А стоит он внутри гор Карпатских от преддверия два дня ходу, над рекою Быстрицей, близ самой границы австрийской. На него один день ходу; но мало бывает такого удобного времени, что можно на него взойти; потому что всегда ниже его стоят облака, и часто кругом его бывают дожди; верх у него плоск; на севере стоит гребнем. На верху горы весьма холодно; часто и летом выпадает снег. Внизу, кругом горы, при

Неоконченное. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru подошве находятся три монастыря. Но я сам близ нее не бывал, а жил от нее на один день ходу. Сказывали мне те, которые на ней бывали не по одному разу, что путь на нее труден и в ее неприступных пропастях и ущелиях много водится великих змей».

«Карпатские горы тянутся от севера на юг и идут сквозь Австрию, Венгрию, Молдавию и Валахию до самого Дуная. За Дунаем называются горы Балканские. Карпатские горы имеют поперечнику 300 верст; ходу 6 дней; леса по горам больше сосновые и еловые, пихтовые, буковые и грабовые; довольно дубовых и березовых; в них множество родится разных грибов, груздей и рыжиков. И часто я ходил по горам и восходил на высоту гор утешать свои скорби любопытным зрелищем: посмотришь на все четыре страны – и ничего не видно, ни полей, ни городов, ни сел, только видны одни горы, покрытые лесами, и выше гор голые вершины; ровного места нигде нет. Иные горы дымятся подобно как от пожара; иные испускают наподобие дыму из труб; это все исходят пары, и делаются облака, и из них идут дожди. Часто мне и сие случалось видеть, что на горе ведро и сияет солнце, а внизу между гор стоят облака и гремит гром, но только весьма глухо; и когда сойдешь вниз, в скит, то сказывают, там был сильный дождь и гром, а мы на горе ничего не видали. Таковы Карпатские горы!»

Никто, конечно, не скажет, чтобы в этой картине была хотя тень преувеличения и искусственности; напротив того, все здесь так чуждо всякой претензии, что описание кажется проще, нежели самая природа, которую оно изображает; нет здесь ни малейшей подбелки или подкраски; нет ни «переливов света», ни «высей гор, утопающих в бесконечной синеве неба»; простота воззрения и умеренность выражения таковы, что даже удивительно кажется громадность того впечатления, которое производится на читателя этою суровою картиною. И между тем могучесть этого впечатления есть факт, и факт действительный; и если описание природы так широко, так благотворно действует на читателя, то можно себе представить, как велико должно быть непосредственное действие этой природы на человека, ставшего к ней лицом к лицу, человека с душою полною кипучего желанья успокоить истомленную душу на лоне ее.

Русская народная поэзия весьма богата памятниками, выражающими такое страстное сочувствие к природе и в особенности к природе первобытной и девственной. Не знаем, был когда-нибудь напечатан довольно распространенный в народе «Стих Асафа-царевича», но во всяком случае считаем нелишним привести его здесь в том виде, как он имеется у нас под руками в рукописи, сообщенной нам одним любителем старины.

«Восплачется младь юношь пред пустынею стоя: / Прекрасная пустыня, любимая мати! / Прими мя, пустыня, яко чада, на руце! / Научи мя, пустыня, волю божию творити; / Избави мя, пустыня, злыя превечныя муки; / Введи мя, пустыня, в небесное царство! / Проречет мати пустыня архангельским гласом: / Ты млady юношь, Асафей-царевич! / У меня во пустыни много нужи приняти, / У меня во пустыни постом попоститися, / У меня во пустыни скорбя поскорбети, / У меня во пустыни терпя потерпети! / Ответ держит младь-юношь Асафей-царевич: / Прекрасная пустыня, любимая мати! / Не страши мя, пустыня, превеликими страхами, / Могу я, пустыня, много нужи приняти; / Могу я в тебе, пустыня, постом попоститися; / Могу я в тебе, пустыня, трудом потрудитися; / Могу я в тебе, пустыня, скорбя поскорбети; / Могу я в тебе, пустыня, терпя потерпети! / Проречет пустыня архангельским гласом: / Ты млady юношь Асафей-царевич! / У меня во пустыни негде погуляти; / У меня во пустыни не на что смотрити; / У меня во пустыни не с кем слово говорити; / У меня во пустыни нет сладкого брашна; / У меня во пустыни нет медвяного поила! / Ответ держит младь-юношь Асафей-царевич: / Прекрасная пустыня, любимая моя мати! / Не страши мя, пустыня, превеликими страхами; / Разгуляюсь я во пустыни во зеленой во дуброве; / Насмотрюсь во пустыни на различные светы; / Со мной будут говорить вси райские птицы; / А стану я носить черную ризу; / А стану я питатися гнилою колодою; / А стану я пити болотную воду... / Тебя, мати пустыня, вси ангели знают; / Тебя, мати пустыня, пророцы прославляют; / Тебя, мати пустыня, ангели хвалят; / Тебя, мати пустыня, преподобные уболажат; / Тебя, мати пустыня, Предотеча воспеваает; / В тебе, мати пустыня, господь на престоле / С херувимы и серафимы, с преподобною силою».

Стихотворений, подобных приведенному выше, ходит множество в народе. В недавно открытом древнем русском стихотворении «Повесть о Горе-Злосчастьи» герой ее после многих тревог и волнений приходит к тому же «спасенному пути», на который указывает «Стих Асафа-царевича». Содержание всех этих «стихов» исключительно аскетическое. Явно, что в представлении народном пустыня получала совершенно

Неоконченное. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru особый смысл, что в ней русский человек находил удовлетворение всем своим грубо-мистическим стремлениям. Действительно, раздолье и беспредельность пустыни, тишина, царствующая окрест, – все это как-то особенным образом настраивает все душевные силы человека, отрешает их от всего временного и ограниченного и устремляет исключительно к вечному и беспредельному. Отсюда то великое множество аскетических стихотворений, которые и доселе ходят по рукам в простом народе; в стихотворениях этих преимущественно восхваляется житие в пустыне и противопоставляется ему растление, царствующее в мире; напоминает человека об ожидающей его смерти: взирай с прилежанием, тленный человек, како век твой проходит, а смерть недалече; являются сомнения о том, как на свете жити да не согрешити, говорится о двух дорогах, по которым идут люди многи; одни идут в небесное царство, в превечную радость, а другие идут в превечную муку, в бесконечную пропасть. К этому же разряду народных воззрений на жизнь будущую и путь спасенный относятся многочисленные сказания об антихристовом пришествии. По смыслу этих сказаний спастись в то время может только тот, кто скрывается в вертепах, рассединах земных и проводит жизнь «в плачах бесчисленных». Сюда же можно отнести и народные представления о женщине, которая вообще изображается как начало злое, скверное и язычное. Конечно, в народных сказаниях об этом предмете встречается и понятие о жене доброй, которая представляется как муравей в доме, и о доброй дочери, но памятники древней русской письменности слишком умеренны на этот счет; им привольнее говорить о жене злой, которая «всякого зла злее», которую нельзя ни с чем иным сравнить, как с «козю неистойой, сатаниным праздником и жидовскою гостиницей». Самая добрая жена в представлении народном есть не что иное, как работница, «муравей в дому», и если она не удовлетворяла этому представлению (и не удовлетворит ему весьма легко), то делалась немедленно злою. Иногда даже вообще говорится о женщине как о пагубе для души, как, напр., «некто плакал по жене, приговаривая: не об этой плачу, а о том, если будет и другая!»

Такие частью аскетические, частью мистические воззрения, не будучи умерены светом истинной веры и понятием о долге гражданском и человеческом достоинстве, могут, в крайних своих выражениях, переходить в самое зверское безобразие. Таковы, например, понятия раскольнической секты, известной под именем филипанов, о самосожигании и вообще самоубийстве, понятия, возведенные на степень догматов. Мы остановимся на этом предмете несколько более, потому что он заслуживает глубокого внимания со стороны всякого мыслящего человека. Послушаем рассказ протоиерея Андрея Иоаннова о филипанах, помещенный в сочинении его «Полное известие о древних стригольниках и новых раскольниках». «К самоубийству (филипане) столько склонны, что всегда наведываются, где, когда и сколько сожглось или запостилось самовольно. Старики и старухи, увидя какой-нибудь дом или покой, на их вкус устроенный, со слезами вывают: «О, если бы в таком бог привел сгореть!» Они всякого новоприходящего уговаривают запоститься, чтоб получить венец мученический. Ежели кто согласится на то, таковым заповедуют четырнадцатидневный пост. А как знают они, что человеческие силы без пищи сорока дней не вынесут и что человек жив быть не может, то, исповедав по потребнику сих постников, постригают их в монашество и, посхимив, сажают в пустую избу, а чтоб прежде времени не умертвили себя, снимают с них всю одежду и пояс и крест, и приставляют нарочно к тому определенных, чтобы напоминали им обещание, ими принятое, подобно Христу. Постники дотоле молчат, доколе силы их сносят, а как начнут ослабевать, то вообразить не можно того мучения, которое терпеть принуждены бывают; они, бедные, тоскуют, тысячекратно раскаиваются, проклинают день рождения своего и прельстивших их, сами себя кусают и терзают. Желают скорой смерти, но не обретают, ибо все способы отняты. Молят о свободе, но не получают. Просят жаждущей гортани каплю воды, но в ответ от приставов слышат: не дастся вам, не дастся, да не лишитесь венцов мученических... Напоследок, истерзавши сами себя, в неопisanном безобразии и отчаянии испускают бедную душу свою».

«В 1781 году, продолжает тот же автор, на светлой неделе пасхи, Киевской губернии, в слободе Злынке, один из филипан перекрестил жену свою беременную и троих детей, которых всех в ту же ночь сонных убил, для того, чтобы новокрещенных мучеников удобнее отправить в рай. Поутру же сам пришел в тамошнее правление и, дерзновенно объявляя о себе, говорил: «Я мучитель был своим, а вы будете мне; и так они от меня, а я от вас пострадаю; и будем вкуче за старую веру в царстве небесном мученики».

Еще более поучителен переданный в этом же сочинении рассказ о морельщиках некоего Ксенофонта, впоследствии обратившегося из раскола в недра православной

Неоконченное. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru церкви. Речь идет о некоем Ионе, который запер двадцать человек в ригу, «и как стало им тошно, то они, взявши камни из каменницы, били в дверь и выбили доску и поползли вон, а мы (то есть ученики Ионы) камнями в головы их били, и тако двоих убили, и, заградивши дверь, донесли о том Ионе, что с ними велит делать! И приказал соломой ригу окласть и сожещи; что мы тогда ж и исполнили». Замечательнее всего, что за эту послугу Иона своим помощникам «дал по двадцати рублей».

Что эти рассказы не вымышлены, доказательством тому могут служить известия о самосжигателях, сохраненные официальными документами и другими историческими памятниками. Таким образом, в грамоте 24 августа 1685 года царей Иоанна и Петра Алексеевичей на имя Новгородского митрополита Корнилия (Акты историч., т. V, № 127) говорится, что в деревне Острове, вотчине монастыря Хутыня, собралось в овине и сгорело тридцать человек. В 1687 году сожглись добровольно раскольники, запершиеся в Полюстровском монастыре (Акты историч., т. V, № 157). В 1693 году произошел случай такого же самосожжения в Пудожском погосте, в деревне Строкиной (Акты историч., т. V, № 223). Более же всего страдала от фанатизма раскольников страна Сибирская, где случаи самосжигательства повторялись часто и иногда в огромных размерах. Так, напр., в 1679 году, вверх р. Тобола, на речке Березовке, сгорело разом 2700 душ, прельщенных учением бывшего попа, тюменца Дементьяна.

Замечательно еще, что основание учения филипан взято из Священного писания, и именно они приводят в оправдание своего фанатизма слова св. Евангелия: «Иже бо аще хочет душу свою спасти, погубит ю» (Марк. <8>, зач. 35).

Но увы! И не здесь еще крайний предел аскетических воззрений на жизнь и подвиг ее. Так называемые скопцы превзошли морельщиков в фанатическом безобразии. К сожалению, мы имеем очень мало свидетельств об этой секте, замечательной как высочайшее уклонение человеческого разума. Впрочем, почтенный о. Парфений дает нам некоторое понятие о скопцах в своем «Сказании». Послушаем его:

«Когда мы приехали в Яссы, – говорит он, – то яссские скопцы, узнавши, что мы оставляем раскол и хотим ехать в Россию, захотели покушаться прельстить нас в свою погибель и желали иметь с нами разговор. Хотя я не соглашался входить с ними в разговор, потому что мне уже наскучили и свои толки и раздоры, и думал, что не успели мы еще из одной ямы вылезти, а уже другую бездну нам готовят; однако мой друг Иоанн согласился с ними войти в собеседование. Выбравши место, все сели; и я с ними. Отец Иоанн спросил: «Что хотите у нас спросить или что хотите сказать нам?» Они отвечали: «Мы наслышаны, что вы оставляете свой раскол и хотите ехать в Россию; мы бы советовали вам лучше остаться здесь и присоединиться к нам». Иоанн: «На чем же вы утверждаетесь в своей вере и какое имеете свидетельство от Священного писания?» Скопцы: «Мы идем по Евангелию; ибо там сказано: суть бо скопцы, иже из чрева матеря родишася тако; и суть скопцы, иже скопишася от человек; и суть скопцы, иже исказиша сами себе, царствия ради небесного (Матф. 19, 12). Вот на чем мы утверждаемся».

Опровергнув, устами друга своего Иоанна, нелепое учение скопцов, автор рассказывает кратко историю утверждения этой ереси в Молдавии. Скопцы переселились в Молдавию из России в царствование императора Александра I-го, но никто не принимал их там под свое покровительство. Напоследок, по усиленным их мольбам, принял их молдавский митрополит Вениамин, под условием, чтобы приходили в митрополитскую церковь, прислуживали как митрополитские слуги, причащались ежегодно св. таин по трижды и отнюдь никого не скопили. Но вскоре благодушие митрополита было самым печальным образом обмануто. Думая искушать их, он сделал для них обед, изготовив всю пищу мясную. Скопцы взбунтовались и едва не убили своего благодетеля. Митрополит отрекся от них и передал гражданскому начальству, а молдавский сенат приговорил: «Как людей непотребных и царству бесполезных, выгнать скопцов всех в поле и побить из пушек». Только заступничество русского консула, рассказывает о. Парфений, могло спасти их от исполнения этого решения. И с тех пор они живут в Яссах спокойно, обязавшись только подпискою никого впредь не скопить.

Между этими грубыми и уродливыми порождениями фанатизма и суровыми, но в высшей степени человеческими образами, вызываемыми почтенным автором «Сказания», целая бездна. По-видимому, нельзя и подумать, что в основании тех и других положено, однако ж, одно и то же начало, а за всем тем, однако ж, тождественность этого основания не подлежит сомнению. И в том и в другом случае внутреннее содержание жизненного подвига дается страстным желанием спасти душу среди соблазнов

Неоконченное. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru многоволнистого житейского моря, послужить кресту и обрести вечный покой и светлую радость в будущем, но в первом случае страстное движение души, не умеряемое ни светом истинной веры, ни ясным представлением обязанностей человека и гражданина, носит на себе все признаки грубой страсти, возводится на степень фанатической ненависти ко всему, что ставит преграду этой противообщественной страсти, и в самом себе доходит до исступления, во втором, при более благоприятном настроении духовных сил, воззрение на жизнь делается мягким и снисходительным и самый предпринятый подвиг жизни становится не подвигом озлобления и ненависти, а подвигом светлым и в высшей степени симпатическим, при всей своей исключительности.

Следуя за отцом Парфением и вступая с ним в тот мир, которого двери он нам отвергает, нельзя без особенного и очень сильного чувства умиления читать рассказы его об этих суровых, по вместе с тем беззлобивых и кротких подвижниках, которые отложили помыслы о всем земном и всецело посвятили себя богу. Мы сознаем, что жизнь эта как будто не по нас, что все коренные понятия наши о жизни и ее требованиях сложились совершенно иным образом, что мы не в состоянии были бы понести и тысячную долю тех нужд и лишений, которые добровольно приняли на себя эти странники моря житейского; мы сознаем еще – что всего важнее, – что через эту неспособностью к высоким подвигам отшельнической жизни мы не делаемся ни преступниками, ни недостойными членами христианского общества, что, оставаясь в мире среди его соблазнов и искушений, мы совершенно удобно можем исполнить все обязанности, налагаемые на нас христианским учением; мы сознаем все это, и между тем не только понимаем, но и всем сердцем сочувствуем этим людям, которые, по-видимому, умертвили в себе все страсти человеческие, отреклись от всего, чтобы проникнуться одною идеею сурового долга, одним желанием послушания. В конце четвертой части «Сказания» рассказаны жития знаменитейших подвижников св. Афонской горы. Пространнее прочих передана жизнь русского иеросхи-монаха Арсения, который был духовником автора и, следовательно, ближе к нему, нежели прочие старцы афонские.

Родился он в г. Балахне, Нижегородской губ., от мещан, но на двадцатом уже году оставил родительский дом и пошел странствовать. Посетивши множество святых мест русских и нашедши себе спутника Никиту, уроженца Тульской губернии, пришли оба в Молдавию, и там пострижены в монашество. Но не здесь суждено было совершиться подвижнической жизни обоим друзьям; внутреннее чувство призывало их на Афонскую гору, в те прекрасные и безмолвные пустыни, о которых с юных лет тосковало их сердце. И вот, преодолев все трудности, без денежных средств, питаясь мирским подаванием, они достигают – таки своей цели и, пришедши в Афон, в то время совершенно разоренный турками, постриглись там в великую схиму. Дальнейшая их жизнь в уединенной келии, в непроходимой почти пустыне протекла в служении богу и скромных подвигах добра. «Достигли они, говорит автор, в тихое пристанище душевного спокойствия и безмолвия, сиречь соединения ума с богом. Отцу Авелю (Арсению) дал господь дар рассуждения, вкупе и прозорливства; отцу же Никандру (Никите) – дар слезный: ибо плакал день и ночь до самой смерти. Этот «дар слезный» принимает иногда под симпатическим пером автора размеры глубоко потрясающие. Таков, например, рассказ о служении литургии. «Многажды мне случалось, говорит автор, взойти в притвор и слушать их громогласную литургию и музыкальное их пение, слезами растворенное. Вижду двух старцев, постом удрученных и иссушенных: один в алтаре, пред престолом господним стоит и плачет и от слез не может возгласов произносить, только едиными сердечными воздыханиями тихо произносит; а другой стоит на клиросе и рыдает, и от плача и рыдания, еще же и от немощи телесной, мало что можно слышать». Смеем думать, что ирония самая беспощадная смолкнет перед этим поразительным проявлением «слезного дара».

Начало жизни своей они проходили по пустынному уставу, не занимаясь никаким житейским попечением, ни садом, ни огородом, ели единожды в день, а в среду и пяток оставались без трапезы. Пищу их составляли: сухари, моченные в воде, и черные баклажаны квашеные, посыпанные красным перцем. Ночь всю препровождали в молитве, и если сон превозмогал, то «сидя давали место сну, не более часу во всю ночь, и притом неприметным образом», разговоров между собой отнюдь не имели, а пребывали в молчании и беспрестанной умной молитве. «Сии два старца, прибавляет автор, толико возлюбили господя своего, что ни на одну минуту не хотели с ним разлучиться, но всегда с ним беседою соусплаждались, умом и сердцем и устнами».

В высшей степени замечательно также описание смерти другого подвижника Афонской горы, схимонаха Макария, родом грека. Причастившись св. таин, он пришел к игумену и сказал: «прости меня, отче святой, и благослови: я хочу умереть».

Неоконченное. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
Вышедши от игумена, пошел в больницу и просил койку, и на вопрос больничаря: «на что тебе, отец Макарий, койку?» – отвечал: «умирать хочу». Потом со всеми простился, возлег на постель и скончался.

Таковы афонские отцы, по рассказам почтенного автора, но кроме их есть много и таких отшельников и пустынножителей, живущих кругом самого Афона, которых и в монастырях никто не знает. Живут они в пещерах, одежда на них обветшала, ходят полунагие или покрытые власами, питаются «саморастущими травами», а от людей укрываются. Заставши однажды одного такого пустытника, монахи узнали от него, что он уже сорок лет живет в пустыне, с небольшим числом пустытников, не видя никого, кроме своей братии. На вопрос «как проживали они в течение шести лет, когда Афонская гора была разорена и всюду ходили турки», он отвечал: «ничего мы не видели и не слышали».

Понятно, что при таком исключительном, особенном образе жизни, и ум и чувство человека приобретают своеобразный склад, совершенно отличный от понятий и чувств общепринятых. Здесь является особенный дар прозорливства, дар обонять то «благоухание», о котором так часто говорит о. Парфений, особенное пристрастие везде находить чудесное и всякое явление в природе объяснять вмешательством какой-то высшей, самостоятельно действующей силы. Так, например, старцы афонские почти все заранее предугадывают время смерти своей, и при жизни еще делаются как бы причастными откровению, которое раздирает для их глаз завесу будущего. С этим особенным направлением всех чувств и помышлений нас в совершенстве знакомит о. Парфений, передавая в книге своей как собственные впечатления, так и рассказы посторонних лиц о разных явлениях природы. Чтобы ознакомить читателя с этим взглядом, не излишним считаем сделать выписку из заключительных параграфов 4-й части «Сказания».

«От Афонской горы три дня ходу есть полуостров Кассандра. Там наш русский монастырь имеет водяную мельницу. Вода на мельнице удивительная: когда она сбегает с колеса, то претворяется в камень и замерзает сосульками, как лед чистый; но это не лед, а камень; также обмерзает и колесо, и часто его обрубают и очищают. Таковая же вода есть и в Афоне, в монастыре Хилендаре».

«Болгары сказывают вещь неудобь вероятную, – что в Македонии, в двух местах, одно близ города Неврокопа, а другое от Солуни день ходу, стоят по целому обозу, один за другим, окаменелые люди, верховые и пешие, мужчины и женщины. А предание о них имеет такое: якобы в древние времена, когда еще были там идолопоклонники, ехали беззаконные свадебные поезда и окаменели. Мне самому видеть сего не случилось, а пусть рассуждает кто как знает».

«Еще скажу следующее: шли мы из Иерусалима и стояли в карантине двенадцать дней, на острове Самосе, внутри гавани, подле монастырька; там, близу нас, из-под камня протекал большой источник воды холодной и сладкой, которою пользовались мы три дня и благодарили бога, что привел стоять в карантине, подле такой воды благодатной. В тех странах ничто так не нужно, как добрая вода. Но в четвертый день утром, когда мы пришли взять воды, ни одной капли не нашли, и источник весь высох; увидевши сие, мы весьма ужаснулись и много тому удивлялись, куда девался толь великий источник воды; плакали и говорили, что, видно, за великие наши грехи взял от нас господь эту благодать. Потом пришел игумен и сказал нам, что сия вода раза три и четыре в год престаёт течь, а после паки начинает течь. И мы три дня великую имели нужду в воде, а после паки она потекла по-прежнему: и мы много тому удивлялись. А отчего это происходит, никто сего не знает. А источник столь велик, что может быть пригоден для мельницы».

К этому же разряду воззрений относится рассказ о матери какого-то султана, которая, по чувству любопытства, зашла в христианскую церковь, съела там антидору и внезапно почувствовала «некое благоухание». Эта султанская мать не только сама обратилась в христианство, но и склонила к тому своего сына, который по этому случаю принял мученическую смерть.

Но в то самое время, когда на юге, среди чуждой народности, совершаются указанные выше подвиги самоотвержения, тот же самый склад мысли, та же струя чувства и с тою же силою отзывается на отдаленном севере. Здесь выразителем их служит ссыльнокаторжный богомольского винокуренного завода (Томской губ.), Даниил Корнильев Дема. В этом заводе он находился несколько лет под ведением первого пристава, Егора Петрова Афанасьева, от которого претерпел много гонения. «Сей называл его святошею, говорит о. Парфений, и употреблял его в самые тяжкие

Неоконченное. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru работы. Но он все работы, возлагаемые на него, исправлял без опущения и по вся ночи стоял на молитве; пищи вкушал очень мало, и то только хлеб и воду. Среди дня, когда прочие отдыхали, он удалялся на молитву в уединенное место, где бы его не видно было. От того наипаче начальник Афанасьев на него сердился и насмехался, говоря ему: «Ну-ка, святоша, спасайся на каторге!» Однажды, в зимнее время, обнаженного его посадил на крышу дома своего, велел из машин поливать его водою и с насмешкой кричал ему: «Спасайся, Данил! ты святой!» Он ему ничего не отвечал, а молился только о нем же богу, чтобы не поставил сего ему в грех»...

Этот рассказ, заимствованный из достоверных источников, приводит нам на память другой подобный, переданный тем же Ксенофонтом, на свидетельство которого мы уже ссылались.

«1783 года. Познавши тоя волости (Вологодской губ. Устюжского уезда) священник, что много отверглось от сообщения святых церкви детей духовных, и наведавшись про нас, где живем и куда приходим, донес в духовную консисторию, а сия просила светское правление поступить с нами по законам. Вследствие чего, из губернии отправлен был капитан-исправник, который, приехавши к нам с командою ночью временем, и вначале взявши детей наших, допрашивал о нас с жестоким истязанием. Я в то время с дядею отлучился в жило для нужной потребы, а показанный Тимофей (живший вместе с рассказчиком) за несколько перед тем вышел к соседу. Дети при допросе показали, что нас дома нет, что мы отлучились в жило; а как капитан спрашивал и о Тимофее, то они показали, что и он с нами был. Когда же, по приходе нашем, увидел он, что с нами Тимофея нет, то начал допрашивать меня, где Тимофей, и как я его не показал и грубыми речью нарочно капитана раздражал, чтоб он меня начал бить и убил до смерти, то он так жестоко бил меня плетью и так пробил тело на хребте моем, что оно висело лоскутами, а после, сгнивши, опало; от чего так тяжело было мне, что я не помышлял себе живому быть. Болезнь от побоев продолжалась более полугодом, через все же это время был я под стражею, и потому ниже лекарства принять было можно. А какие претерпел изнурения, будучи при допросах и скован по рукам и по ногам, то в своем Красноборске, то в Устюге и в Вологде, хотя бы все сие пострадал я, но не по разуму, поелику все то противно было богу и церкви, яко же и апостол пишет: «аще и постраждет кто незаконно, не венчается». Бог един ведает, что не было в моем разуме желать и искать суетной и тщетной славы человеческой или скорогибнущего и суетного богатства, и потому вся сии мои страдания и внутренние и внешние ни во что полагал, понеже нельзя человеку, спасающемуся без сих великих искушений, в познание себя прийти, и аз многогрешный зело о сем радуюся, что через вся сия великая искушения познал себя и мать свою святую соборную и апостольскую церковь, которая меня издетска породила и воспитала, якоже мать питает сосцами любимое свое чадо; и хотя супостат и наветник душ человеческих, восхитив овцу от Христова стада, загнал в горы, во тьму заблуждения прелести своей; но создатель мой господь, видя скитающуюся по дебрям заблудшую овцу, сыскал ее и, возложив на рамена своя, привел в ограду словесных овец» (Полн. истор. изв. о стригольниках и пр. протоиерея Андрея Иоаннова, изд. 5, ч. IV, стр. 115 и 116).

Хотя в последнем рассказе истязуемым субъектом является раскольник, тем не менее значение обоих фактов совершенно одинаково. С одной стороны, являются пристав Афанасьев и капитан-исправник, явления равно безобразные, равно убежденные в законности торжества матерьяльной силы над силою нравственною, и во имя первой совершающие самые вопиющие бесчинства; с другой стороны, встречаем мы Даниила и Ксенофонта, которые, несмотря на всё различие положений и убеждений, становятся в наших глазах представителями той великой нравственной силы, которая до того живуча, что, несмотря ни на какие препятствия, ни на какие утеснения, постоянно всплывает наверх. Здесь не может быть речи о том, находится ли заподозренный субъект в обладании истины или нет; здесь весь вопрос заключается в том, что субъект этот есть представитель известного убеждения, которое образовалось в нем не случайно, а вследствие продолжительной и трудной работы мысли, и что по этому самому обладатель такого убеждения не заслуживает того высокомерного презрения, с которым относятся к нему люди, убежденные в своем праве потому только, что обладают матерьяльными средствами, чтоб поддерживать это право. Вообще вопрос о том, какого рода должны быть отношения к такого рода явлениям мира нравственного, есть предмет, заслуживающий самого серьезного изучения, и мы намерены ниже коснуться его несколько подробнее. Здесь же можем только сослаться на обоих уважаемых нами авторов. Оба самым убедительным и, так сказать, наглядным образом объясняют нам не только явную бесполезность, но и совершенный вред насильственных мер в этом отношении. Убеждение, воспитанное работою целой жизни, до такой степени всасывается во все существо человека, сливается с ним,

Неоконченное. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru что даже в то время, когда уже начинает сознавать свою собственную ложность, оно не может вдруг отказаться от самого себя, потому что это значило бы отказаться от труда целой жизни, а такого рода подвиги совершаются нелегко. За первыми возникшими сомнениями следует тяжелая и болезненная борьба, и благо тому, который найдет в себе достаточно силы, чтобы выйти из этой борьбы, сохранив в себе прежнюю свежесть и ясность души. В этой борьбе всякое возникающее сомнение вызывает за собою целый ряд новых сомнений, из которых каждое взвешивается не только с крайнею осторожностью, но даже с придирчивостью самую мелочную. Долгое время сердце остается на стороне старых обветшавших убеждений, с которыми давно свыклось, и до тех пор длится это межумочное состояние, доколе разум, уже подкопавшийся под все основания старого здания, не нанесет ему решительного удара, от которого оно обратится в безобразные и не имеющие живого смысла развалины. Послушаем, например, что говорит о. Парфений о своем обращении в недра православной церкви:

«Получивши паспорт, мы отправились в путь через австрийское владение в Россию, с намерением ехать в единоверческий Высоковский монастырь, что в Костромской епархии. Вот сколько в человеке укореняется раскол (и не один раскол, прибавим мы от себя, а всякое убеждение, которого корни лежат в сфере нравственной) и как бы совершенно обращается в природу! Хотя мы непринужденно и по искреннему своему расположению, истинно и добровольно обращались ко св. восточной греко-российской Христовой церкви и во всем ее признали справедливою, но в православные монастыри еще прямо поступить не пожелали, а только захотели присоединиться к единоверию. Что же сказать о тех, которые из раскольников присоединяются к св. церкви по принуждению или по какому-либо нечистому побуждению? Не только церковь иметь не будет от них какую-нибудь пользу, но они еще горшее сотворят. Я много таких знал». Слова эти в полной мере подтверждаются и тем рассказом инока Ксенофонта, на который мы уже столько раз ссылались. Что должен был чувствовать этот Ксенофонт в то время, когда слишком усердный капитан-исправник, по энергическому выражению инока, «превратил в лоскутья тело у него на хребте»? Очевидно, что в уме его не могло крыться иной мысли, кроме той, что будь этот капитан-исправник, безобразный и пропитанный сивухой, в эту минуту в его руках, то, конечно, матерьялом для лоскутьев послужила бы иная спина, иное тело! И действительно, только разумное слово, только благодать и милосердие растворили сердце бедного, отуманенного лжеучением раскольника, только кротость и тихие ласковые слова преосвященного митрополита Гавриила нашли доступ к этому ожесточенному сердцу, а терпение довершило остальное. Великие и милосердые святители православной церкви всегда понимали, что человек, как бы ни была извращена его природа, все-таки носит на себе образ божий, и по этому одному уже заслуживает, чтобы к нему относились, по крайней мере, с терпением. Таким же образом действовали и благодушные монархи наши, как это будет показано ниже. Одни только капитаны-исправники XVIII столетия не умели отличить в человеке его человеческого образа.

Но да не заподозрит нас читатель в некотором пристрастии к безобразным проявлениям фанатизма, которые, к сожалению, встречаются в нашем отечестве весьма нередко. Пишущий эти строки имел случай сталкиваться с весьма многими оттенками глаголемого старообрядства, и никто более его не сознает всей уродливости и празности этих суесловий и препираний о мертвой букве, которые составляют всю сущность раскольнических убеждений, но он практически убедился, что за этим безобразием скрываются нередко побуждения, заслуживающие внимания уже по одной своей искренности, что эти побуждения следует, и непременно следует, отличать от самых проявлений их и что, наконец, кроткое и терпеливое убеждение и ласковость обращения во всяком случае гораздо более могут принести делу пользы, нежели все возможные плети капитана-исправника, которого плотская мысль не в состоянии понять иных побуждений, кроме побуждений желудка и половых органов.

Позволяем себе сделать здесь ссылку на статью «Старец», помещенную в 22 № «Р. вестника» за прошлый год, которая может дать читателю возможность яснее уразуметь смысл наших настоящих слов. Автор заставляет говорить здесь одного из коноводов раскола:

«А все, сударь, благодать! Она, одна она, совлекла с меня ветхого человека! Не просвети нас великий монарх своим милосердием, остался бы я, кажется, о сю пору непреклонен, и все бы враждовал и как зверь подземный копал во тьме яму своему ближнему по крови. По той причине, что будь для нас время тесное, нет нам резону от своего отставать; всяк назовет тебя прелестником, всяк пальцем на тебя

Неоконченное. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru укажет... ну, а мы хоть и мужики, а свою совесть тоже имеем. Теперь другая статья; теперь для нас любви действо видимо, если, по выражению Святого писания, ныне настала время всех освящающее... Ну, и идем мы с упованием, потому что слышим глас любви, призывающий нас: вси приидите, вси напитайтесь».

И действительно, кто знает, что, быть может, в этом заблудшемся стаде есть множество кающихся и недоумевающих, которые потому только не совлекают с себя ветхого человека, что совесть их еще робка и что необходимо внешнее, но очень осторожное и мягкое усилие, чтобы осветить эту робкую совесть светом истины? И потому нельзя не отозваться с полным сочувствием благородным и горячим словам почтенного автора «Сказания», выписанным нами выше.

Но обратимся к прерванному нами рассказу о жизни старца Даниила, извиняясь перед читателем в слишком пространном уклонении от этого рассказа. Отпущенный, за неспособностью к работе, на волю (на пропитание), он ни о чем уже не думал, кроме спасения души своей. Поселился он близ города Ачинска в деревне Зерцалах. Там была и келия его, «подобно гробу, выкопанному в земле, ширины – вершков двенадцать, вышины и длины – в его рост, а окошечко на восток самое маленькое». Пища его была хлеб, и то больше гнилой, да еще иногда картофель; одежда, по рассказам очевидцев, такая, что «если б бросить на улице, то никто бы не поднял». Молитва его была беспрестанная и духовная; он весьма любил молчание и даже нужное говорил кратко и мало и более притчами, «а разговоров мирских, политических и исторических даже отнюдь не терпел». Чтобы дать понятие о его подвижнической жизни, достаточно сказать, что пред вкушением пищи он под пояс себе забивал деревянный клин, чтобы менее съест. Незадолго перед смертью он снял с себя вериги, и на вопрос, почему он это сделал, отвечал, что они не стали уже ему приносить пользы, потому что тело его так привыкло к ним, что не чувствует ни тяжести, ни боли. Замечательно высказанное при этом следующее воззрение на подвижническую жизнь: «тогда только полезна вещь, или подвиг, или добродетель для души, когда они наносят скорбь или обуздание телу... Пусть лучше говорят, что Даниил ныне уже разленился и вериги с себя скинул: это будет для меня полезнее...» Нестяжание его было совершенное; милостыни не подавал и не принимал, работал безмездно, к бедным ходил жать и косить, но преимущественно в ночное время, чтобы никто не мог его видеть. От постоянного молитвенного стояния на коленях его narosли струпы бугром, и под ними завелись черви.

Подобных явлений, свидетельствующих о несомненной энергии духа, найдется чрезвычайно много в рассматриваемом сочинении. Судя по этим образцам, нельзя не думать, что эта энергия, эта неподкупность воли глубоко гнездится в самых недрах народного духа и обещает в будущем великие и бесчисленные последствия. И в самом деле, не один о. Парфений свидетельствует об этих подвигах, совершенных во имя долга, по крайнему разумению понятого, но и прочие духовные писатели наши нередко упоминают об них. Нет сомнения, что понятие о подвиге жизни подвержено многим видоизменениям, что оно может приобрести характер более или менее истинный и более или менее ложный, смотря по степени разумения и нравственного совершенства каждой отдельной личности, тем не менее достоверно, что стремление сделать из жизни нечто равносильное подвигу составляет одну из симпатических черт русского человека. Возьмем эту черту в самом ее преувеличенном, искаженном проявлении – учении раскольнической секты странников или скитальцев – и тут невольно останавливается внимание на этой бесконечной готовности перенести все возможные бедствия во имя известного нравственного принципа, в существе своем ложного, но поражающего наблюдателя своею суровостью, не допускающею никаких уступок и соглашений.

«Странники, – говорит преосвященный Макарий, автор «Истории русского раскола» (стр. 280–283), – принимая все начала беспоповщины, смотрят на церковь русскую, как на отступническую, еретическую, и веруют, будто антихрист уже пришел и царствует на земле... Посему – единственным путем ко спасению эти сектанты почитают не только совершенное отчуждение от русской церкви, но вместе совершенное непризнание над собой царской и всякой земной власти и, при невозможности бороться с нею, бегство от антихристового владычества, удаление от семейства, общества, от подчинения каким бы то ни было гражданским законам и странствование в лесах и пустынях... Секта странников состоит из двоякого рода членов: из действительных странников и так называемых жилых христиан или странноприимцев. Действительными странниками признаются те, которые, разорвав все узы семейные и общественные, бродят из места в место, проживают в лесах, пустынях, а часто в городах или селениях, только скрытно, и считают такое странничество единственным условием для спасения в настоящее злополучное время

Неоконченное. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru антихристовая владычества. От желающего поступить в согласие странников требуется: а) прежде всего, чтобы он бежал из того общества, к которому принадлежит; б) чтобы истребил паспорт или документ о звании, который считается выдумкою антихриста; и в) наконец, чтобы принял новое крещение. Сан свой странники считают иноческим... Брак совершенно отвергают и признают большим грехом, чем блуд, говоря, что общения с законною женой не осудят, потому с нею легче и грешить, а блуд осуждают, и тем отчасти искупляется грех... Эти сектаторы, постоянно скрываясь, даже при простой встрече с кем-либо не объявляют своего звания, следуя правилу: «аще кто спросит: откуда – ответствуй: граду не имею, но грядущего взыскую»... Жилыми христианами называются те, которые, еще не вступив в странничество, только приготавливаются к нему, живут в мире и принимают у себя странников, разделяя их верования. Как находящиеся еще во власти антихристовой, странноприимцы могут записываться притворно в ревизских книгах или раскольниками разных сект или даже православными... Под конец жизни странноприимцы и сами уходят в странство; в случае же тяжкой болезни их выносят из домов куда-нибудь в лес или пустыню для того только, чтобы зачислить их состоящими в бегстве и дать им возможность умереть в звании странников, хотя бы они скончались «в самом близком расстоянии от собственного дома». [13]

Как ни уродливыми, как ни бессмысленными кажутся нам такие противообщественные стремления, тем не менее мы должны сознаться, с одной стороны, что в основании их все-таки положено убеждение, выходящее из ряда обыденных, узких убеждений, и это убеждение, несмотря на свою крайнюю односторонность, носит в себе такие несомненные зачатки энергии, что даже та бесплодная сфера, в которой вращается эта мощная сила, не может окончательно притупить ее, а с другой стороны, что принцип сам по себе весьма почтенный, не будучи сдержан и смягчен цивилизацией, неминуемо влечет, в крайнем своем выражении, к проявлению безобразным и противоестественным.

Где же причина, породившая это суровое воззрение на жизнь, это одностороннее убеждение, которое заставляет смотреть на земное существование, как на временное странствование, почти как на невольное преступление, искупаемое только целым рядом подвигов, нередко столь громадных, что невольно удивляешься той свежей девственной мощи, которая одна в состоянии подъять их? Но вместе с тем, где же кроется и та причина, которая всю эту мощь, всю эту силу ставит как бы ни во что, которая заставляет ее растрачиваться в бесплодных стремлениях к чему-то суетному и призрачному?

Мы несколько раз в продолжение настоящей статьи произнесли слово «раскол». Явление это, составляющее неотъемлемую принадлежность русской почвы и принявшее в «Сказании» о. Парфения живой и отчетливый образ, требует более подробного раскрытия, которое, быть может, и даст нам возможность разъяснить те вопросы, которые кажутся нам загадочными.

ИЗВЕСТИЕ ИЗ ПОЛТАВСКОЙ ГУБЕРНИИ

На днях мы получили из Полтавской губернии известие о скандале, происшедшем между мировым посредником Григорием Павлычем С. и помещиком Александром Павлычем Б. Статья, трактующая об этом деле, подписана псевдонимом «Не тронь менё» и напечатана в «Современнике» быть не может, во-первых, потому, что она очень многословна для такого простого дела, во-вторых, потому, что слишком резко идет вразрез требованиям грамматики (вероятно, это последнее происходит от того, что она переписана не совсем грамотным переписчиком), и в-третьих, потому, что г. «Не тронь менё», очевидно, искажает факты. Но мы не считаем себя не вправе передать здесь содержание этой статьи, тем более что скандал, о котором здесь идет речь, представляет факт не новый и далеко не уединенный. Впрочем, мы оговариваемся, что передаем только сущность дела, а не подробности его; эти последние слишком важны, чтоб можно было основываться на одних показаниях г. «Не тронь менё». Дело в том, что в частный дом помещика З., во время обеда, происходившего по случаю введения в имении З. уставной грамоты, ворвался помещик Б., обругал посредника С. мерзавцем и вором, бросил ему в лицо зажженную сигару и в довершение всего (приводим здесь подлинные слова корреспондента) «схватил посредника Григория Павловича С. одною рукою за волосы, другою колотил по зубам; потом, бросивши его на пол, еще повторил ту же самую зубную операцию. Михаил Иванович Б. (письмоводитель посредника) и сам хозяин З. бросились оборонять С.; последний из них, то есть З., от испуга упал в обморок, дамы (так тут и нежный пол присутствовал?) подняли крик. Посредник С., лежа в объясненном положении, стремился сделать выстрел из револьвера, но Степан Б. (брат дантиста Александра Б.) вырвал из рук таковой (истинно братская любовь!), а у него вырвала из рук

Неоконченное. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
какая-то дама»...

Таков факт. Мы не будем слишком много распространяться об нем, не будем даже пускаться в подробную характеристику его. Полагаем, что ни с чьей стороны не встретим особенного противоречия, если просто назовем поступок полтавских наездников диким, постыдным и даже не найдем в нем ничего обидного для г. С. Обижаться подобными выходками, по нашему мнению, было бы столь же неосновательно, как и претендовать на какой-нибудь локомотив, который нет-нет да и оторвет кому-нибудь руку или ногу, а быть может, и голову. Что с него возьмешь?

Для нас факт этот важен не столько сам по себе, сколько в связи с другими подобными же фактами, о которых, к сожалению, нередко заявляется в русских газетах. Он важен для нас, сверх того, по предмету, который его возбудил и против которого он направлен. Одним словом, нам хотелось бы уяснить в этой истории некоторые пункты, которые кажутся несколько темными.

Почему мировые посредники возбуждают против себя такое ожесточенное преследование?

Вследствие каких причин сделалось возможным проявление протестов в виде физического насилия и во имя каких принципов допускается подобное проявление?

Какого рода поучительный пример в будущем можно извлечь из этого факта?

Ни для кого не тайна, что та часть русского общества, которая называет себя цивилизованною, находится в настоящее время в некотором волнении чувств. «Звон вечеревого колокола раздался – и дрогнули сердца новгородцев!» – сказал некогда Карамзин; то же самое действие произвело на сердца россиян уничтожение крепостного права. Произошел раскол в той самой среде, которая наиболее заинтересована этим вопросом; явились так называемые крепостники и так называемые эмансипаторы, явились ретрограды и либералы; отцы не узнали детей, дети не узнали отцов. Все это сгруппировалось в великом беспорядке около крестьянского вопроса, все это усиливалось вырвать вопрос из рук неприятельской партии и поближе прибрать к себе. Не надо ошибаться: в основании всей этой разладицы лежит крестьянский вопрос, один крестьянский вопрос, и ничего больше; все эти коммунизмы, сепаратизмы, нигилизмы и проч. – все это выдуманно впоследствии, все это только затейливые и не совсем невинные упражнения, сквозь которые проходит один мотив: упразднение крепостного права.

Следовательно, причина огорчения понятна; не нужно также много проницательности и для того, чтобы наперед угадать, в каком порядке расположатся враждующие стороны, где станут так называемые крепостники и ретрограды и где – так называемые эмансипаторы и либералы. Первые, как огорченные, будут, натурально, стараться проявить это огорчение на практике; вторые – будут с кротостью переносить таковые проявления, дабы несвоевременною раздражительностью не повредить торжеству самого принципа.. Одним словом, выкажут не только похвальное самоотвержение, но и неслыханное гражданское презрение к целостности собственных своих боков.

Положения 19 февраля вызвали к деятельности в особенности много молодых людей. Это и естественно. Такая существенная реформа, как отмена крепостного права, тогда только может идти успешно, когда люди, на долю которых выпало практическое ее проведение, суть вместе с тем и люди, искренно ей сочувствующие. Очевидно, что сочувствием такого рода не может обладать тот, кто, так сказать, всласть напился крепостным правом, кто проникся не только наружными красотами его, но и тем тончайшим эфиром, который присутствует в самых сокровенных его тайниках. Для него реформа представляет совсем иной склад жизни, совсем иной строй понятий; здесь всё для него и враждебно и неприветно, все говорит непонятным для него языком. Совсем не таковы отношения молодого поколения к этому делу. Оно не может иметь естественно-сочувственных отношений к упраздненному праву уже по тому одному, что практически не вкусило от плодов его: не успело. Для него не может даже существовать тех сложных и разнообразных причин любви, какие существуют для «людей старых порядков». Его понятия о сословном гонимом (если и сохраняются еще в нем такие понятия) держатся на иной почве, питаются иными соками; они умереннее уже потому, что не раздражаются всегда присущими воспоминаниями о древнем великолепии. Таким образом, делается ясно, что крепостниками пылкими, ретроградами пламенными могут быть только «люди старых

Неоконченное. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru порядков»; ясно также, что все надежды законоположений 19 февраля должны покоиться исключительно на молодом поколении, которое, естественно, ему сочувствует.

Так оно случилось и на практике. «Люди старых порядков» внезапно почувствовали себя отодвинутыми на задний план; «люди новых порядков» внезапно же выдвинулись вперед. Понятно, что если это могло поощрить последних, то отнюдь не могло обрадовать первых. Тут на помощь общему враждебному чувству, зароненному, собственно, упразднением крепостного права, явилось еще уязвленное самолюбие, явилось сознание о насильственном устранении от жизни в такую пору и в таком деле, в котором жажда жизни дает себя чувствовать с особенною силою...

Тем не менее «люди новых порядков» скоро почувствовали, что энтузиазм, который они выказывали, едва ли не преждевременен, а «люди старых порядков» догадались, что дело их совсем не в таком отчаянном положении, как казалось с первого взгляда.

Для того чтобы объяснить себе причину этой перемены, скажем здесь несколько слов об отношениях молодого поколения к великому делу, которое провело такую резкую черту между нашим прошедшим и нашим настоящим. Положение «детей» очень странное. Ни в какой среде основная мысль положений 19 февраля не встречала такого горячего сочувствия, как в среде «детей», и ни на кого не сыплется со всех сторон (даже и с той стороны, откуда всего менее можно было бы этого ожидать) столько упреков, сколько сыплется их именно на молодое поколение. Нигде не проявлялось такой страстной жажды служить делу именно в духе положений 19 февраля, ниоткуда не пришло столько деятелей для нового дела, сколько пришло их из рядов именно молодого поколения, и ничья жажда не была столь мало удовлетворена, ничьим надеждам не предстояло столь решительного и горького разочарования.

Откуда это, милые молодые люди? или вы не прилежно занимаетесь?

Нет, они прилежны; они до такой степени прилежны, что даже немного идеальничают. Приступая к своему делу, они впадают в тон г. Громеки: чего-то трепещут, перед чем-то проникаются благоговением, закатывают глаза и даже подпевают тем кисленьким тенором, которым имеют обыкновение петь очень влюбленные пономари. Прилежание их примерное, преданность делу бескорыстная и беззаветная, честность самая строгая; стало быть, с этой стороны упрекнуть их нельзя.

Но, может быть, они зарываются? может быть, они увлекаются какими-нибудь тенденциями, идут дальше, нежели идет само положение?

Нет, и этого сказать нельзя. Журналы и газеты, в изобилии передающие публике решения, состоявшиеся в мировых учреждениях по разным делам, и преимущественно по разным жалобам, свидетельствуют положительно, что, за малыми исключениями, не только закон уважается, но не допускается даже самомалейшего отступления от буквы его. Зная враждебность окружающей их среды, молодые мировые посредники действуют с осторожностью и благоразумием весьма похвальными, за исключением разве павлоградского посредника Р., о котором пишет в «Нашем времени» г. Герсеванов, будто бы он, как человек молодой и неопытный, увлекся сначала. Однако ж и он впоследствии, убежденный доводами павлоградских дворян, спокаялся, извинился и обещался исправиться.[14] Стало быть (за исключением опять-таки г. Р.), и от закона отступлений нет, по крайней мере таких отступлений, на которые можно было бы с удовольствием сослаться, как на капитальный обвинительный пункт.

А предубеждения против молодых мировых посредников все-таки существуют, и притом не только в тесной сфере так называемых крепостников, но и там, где, по-видимому, не должно бы и быть подобных предубеждений. Газета «Голос», неизвестно кем вдохновленная, уверяет, что это происходит от того, что посредники мало проникаются мнением благоразумного большинства («Голос», 1863 г., № 3). Но «Голос», очевидно, забывает, что большинства, и в особенности благоразумного, еще у нас и не отыскано и что то, что он называет большинством, в сущности, совсем не большинство, а уединенная корпорация, в последнее время сошедшая на степень секты.

Нам кажется, что причина разлада заключается вовсе не в недеятельности или недобросовестности молодых мировых посредников и даже не в том, что они не проникаются мнением какого-то благоразумного большинства, а в том просто, что

Неоконченное. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru всякое истинное жизненное явление имеет свою неумолимую и неотразимую логику. Есть факты, про которые можно сказать: не человек обладает фактом, а факт человеком; есть факты, которые стирают жизнь целых поколений и выдвигают вперед совершенно новые, доселе прятавшиеся по закоулкам и захолустьям основы жизни. Они, в самом существе своем, уже заключают зерно бесконечного и безостановочного развития; этого развития нельзя остановить, как нельзя остановить логического развития мысли: если не допустишь другого досказать эту мысль, сам невольно ее доскажешь, или выищутся другие «другие», которые ее доскажут.

Вот эта-то неотразимость последующего развития, собственно, и внушает опасения, хотя мы и сами не всегда сознаем ясно, что именно нас тревожит. Нам хотелось бы, чтоб явление остановилось в одном положении, а оно развивается, оно хочет исчерпать все последствия, которые естественным образом из него вытекают.

Нам хотелось бы, подобно Иисусу Навину, сказать: стой, солнце, не движись! а солнце все-таки движется, то есть не солнце, а земля (эту оговорку мы делаем, собственно, для «Русского вестника», чтоб он не обвинил нас в невежестве).

И вот мы сердимся и, не будучи в силах совладать с самым явлением, не имея возможности остановить его развития, сваливаем всю вину на лица, которые к нему случайным образом прикосновенны. Ясно, что мы ошибаемся, ясно, что обвиняемые не только не управляют явлением, но, скорее всего, сами идут за ним, но потребность придраться, потребность обвинить и заподозрить кого бы то ни было так велика, что мы уж не рассуждаем и даже боимся рассуждать.

Во всяком случае, антагонизм существует, а недоверие к действиям мировых посредников (преимущественно молодых) выражается и часто, и ярко. Мы уже не говорим о формальных жалобах: жаловаться, конечно, всякий имеет право, хотя бы и без разумного основания, но не можем пройти молчанием протестов, которые для выражения своего нашли удобным избрать форму положительного насилия.

В последнее время примеров такого насилия рассказано в наших журналах три, один за другим.

Первый пример передан нами выше.

Второй пример рассказан в 3 № «Голоса» за сей год. Дело заключается в том, что дворяне Сердобского уезда в особенности недовольны действиями мировых посредников Оз-на и Кр-ского. Г-н Оз-н жалуется, что в зале сердобского городского клуба к нему подходили некоторые помещики и, громогласно выражая свое неудовольствие на его бездействие и нерадение к своим обязанностям, просили его выйти в отставку. Г-н Кр-ский жалуется, что его не только просили выйти в отставку, но один помещик, «из отставных военных», вызвал его на дуэль. «Сердобский обыватель», который это описывает, хотя и оговаривается, что все это очень преувеличено, однако что-нибудь да было же в этом роде, коль скоро сам сердобский уездный предводитель, г. Ст-в, встревожился и, в качестве председателя уездного мирового съезда, писал к начальнику Саратовской губернии, что он находит невозможным открыть мировой съезд до тех пор, «пока не только права, но и самая личность присутствующих (то есть посредников) не будут ограждены от неприятностей и оскорблений».

Третий случай рассказан очень трогательно г. Герсевановым в «Нашем времени» и произошел в Павлоградске. Дело в том, что там есть один ужасный мировой посредник Р., который куда-то все гнет, только не туда, куда хочется павлоградским дворянам. Покуда был в Павлоградском уезде «умный и гуманный предводитель дворянства, позволивший себе (?) одну минуту (??) вступить за г. Р.» (это подлинные слова г. Герсеванова), Р. кутил и увлекался напропалую; но вот «умный и гуманный предводитель пал», а на место его избран Андрей Петрович Письменный. Кутить не стало больше возможности... В самом деле, на первом же мировом съезде г-ну Р. прочитали сильнейшую нотацию, а на другой день, на частном съезде дворян, прочитали ему нотацию еще сильнейшую, заключавшуюся в том, что «офицер, боящийся выстрела, не может служить в рядах храбрых; хирург, падающий в обморок при виде крови, не может делать операцию; дворянин, лишенный примирительного характера, не должен быть посредником». Одним словом, г. Р. предлагалось оставить службу, и жаль только одного: г. Герсеванов не объяснил, что это был за частный съезд дворян, по какому случаю он происходил и где именно происходил? Кончилось дело тем, что г. Р., пораженный павлоградским красноречием, оказал павлоградское раскаяние и обещал на будущее время приложить

Неоконченное. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
павлоградское старание.

С первого взгляда, факты эти могут показаться несколько загадочными; не потому, чтобы встречалось какое-либо сомнение насчет существования насилия (в этом могут сомневаться только г. Герсеванов да «Голос»), а потому, что насилие действует что-то уж чересчур решительно и самоуверенно. По-видимому, и сила вещей, и сила закона – всё на стороне мирового посредника; по-видимому, если он действует согласно требованиям закона и собственной совести, то может оставаться спокойным; если же он ошибается или даже против закона действует, то хотя и навлекает за это на себя взыскания, но все-таки взыскания, налагаемые в законном же порядке, а не вне его. Оказывается, однако ж, что все это теория и что теория у сердобских, павлоградских и полтавских обывателей сама по себе, а практика – сама по себе. Обыватели эти вообразили, что в них, как в некоем драгоценном сосуде, все совместились: и кротость голубя, и мудрость змия. Отчего они вообразили это?

Такого рода воображение может проистекать из двух равно поощрительных источников.

Во-первых, может случиться так, что на стороне посредников находится только «видимая» сила, а на стороне их антагонистов – сила «тайная», покровительствующая, так сказать, под рукою. Это сила не высказывающаяся, но чувствуемая в воздухе, подобно едкой гари; это сила стыдящаяся и не формулирующая себя, но подстрекающая: «Держайте, дети, держайте! Я ничего не вижу!» Не предосуждая решение читателя, которой из этих двух сил отдать преимущество, мы, с своей стороны, однако, находим, что сила тайная имеет на своей стороне ту выгоду, что ее нельзя ни уловить, ни поставить с очей на очи, ни уличить и что, следовательно, она хотя и нейдет напролом против законной силы, но подрывает ее беспрестанно, и притом самым воровским и изменническим манером.

Мы не называем эту силу по имени, во-первых, потому, что не желаем дразнить кого бы то ни было, а во-вторых, потому, что всякий читающий эти строки, наверное, может назвать ее сам. Цель ее – парализовать все добрые и плодотворные начала, заключающиеся в законоположениях 19 февраля, средство же, которое употребляется ею для достижения этого, до того просто, что даже легко может прийти в голову и самому неострому уму. Оно состоит в том, чтобы всякими нехитрыми мерами отбивать охоту служить положению у тех, которые действительно этому делу преданны и, следовательно, могли бы принести ему наибольшую пользу.

Средство это, несмотря на всю свою незатейливость, весьма ловкое и притом совершенно национальное. Мы, русские, столько веков на разные манеры твердили, что

Законы святы,

Да исполнители лихие супостаты...

мы до такой степени убедились в справедливости этого изречения горькою практикой, что оно сделалось как бы непременным спутником нашей жизни, чем-то таким, без чего существование наше было бы не полно. Возьмите, например, павлоградский случай: пал «умный и гуманный уездный предводитель» – и «тотчас же явились суд, правда и мир» (ирония это или не ирония – пускай судит сам г. Герсеванов). Прочитайте речь Андрея Петровича Письменного в изложении г. Герсеванова, вы увидите из нее, во-первых, что он «надеется, что павлоградские мировые съезды будут поистине мировыми» (мы, с своей стороны, надеемся, что они вместе с тем не перестанут быть и павлоградскими); во-вторых, он обращается к «благороднейшим дворянам» и говорит им: «В вас, благороднейшие дворяне, я должен иметь силу и значение для действия к общему благу». Одним словом, на первом плане стоит Андрей Петрович и «благороднейшие дворяне»: они будут давать Андрею Петровичу силу, и он станет действовать. О положениях 19 февраля Андрей Петрович совсем забыл, и это тем страннее, что в них-то именно, и в них одних, он, как председатель мирового съезда, должен был бы искать и опоры и силы. Любопытно было бы знать, во имя чего действовали павлоградские мировые учреждения при «умном и гуманном уездном предводителе»? Или тогда были всё только супостаты?

Орудиями для отбивания охоты от службы неприятному делу являются обыкновенно те самые Ш-ны, Н-ны, М-ры и Ю-вы, о которых говорит «Сердобский обыватель», а также Александры Б. и Николаи З., о которых повествует г. «Не тронь менё». Личное их вмешательство в действия мировых посредников, по-видимому, совершенно лишнее;

Неоконченное. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru по-видимому, они, наравне с прочими, могут найти для себя убежище и в законе, и в праве жалобы, и, наконец, в праве публичного оглашения неправильных действий: во всем этом никому и нигде не отказывается; но Ш-ны, Н-ны, М-ры и Ю-вы рассуждают не так; они думают: куда там еще с законами, да с апелляциями, да с оглашениями! закон в нас самих! И вследствие такого рассуждения призывают к себе на помощь помещика из «отставных военных», который, по мнению их, заключает в себе и суд и расправу и который действительно «предлагает г. Кр-скому удовлетворение», то есть вызывает его на дуэль. И тут начинается целый ряд насилий, насилий смешных и невинных, но тем не менее в целом представляющихся невыносимыми. Произносятся остроумные речи, вроде того, что «офицер, боящийся выстрела, не может служить в рядах храбрых», начинаются кивания, мычания, визжания, предлагаются любезные вызовы на дуэль; одним словом, вчинается безобразнейший *procès de tendance*, в котором общественный обвинитель, вместо того чтобы формулировать обвинение, высывает язык и делает угрозу носом. И никак не надо думать, чтобы полтавская драка была первою попыткой насилия над мировыми посредниками, первою попыткой подействовать на мировые учреждения посредством устрашения. В этом нас усерднейше разуверяют г. Герсеванов и сердобский обыватель, хотя они, по-видимому, и не подозревают, что воспеваемые ими подвиги павлоградских и сердобских обывателей принадлежат к разряду подвигов, именуемых насильственными. Конечно, полтавское происшествие составляет в своем роде перл, но и сердобские суждения не дурны. Сердобские дворяне требуют, чтоб гг. Оз-н и Кр-ский вышли в отставку, но где же они почерпали себе право выразить такое требование? Ведь Оз-н и Кр-ский даже не ими и выбраны! Помещик из отставных военных вызывает г. Кр-ского на дуэль... с какого повода, за что, зачем? Неужели это не насилие? Неужели тут есть какой-нибудь другой смысл, кроме смысла простого грубого гнета?

Итак, первая причина, обуславливающая возможность проявления всякого рода насилий против людей мирового института, заключается в существовании тайной силы, им покровительствующей и подрывающей силу открытую, законную.

Вторая причина легкой возможности проявления насилий лежит гораздо глубже и заключается, по нашему мнению, в совершенном отсутствии твердой почвы, на которую могли бы опираться мировые посредники. Конечно, самый закон, самое положение уже представляет опору, но выше мы сказали, что защита, которую можно бы искать в законе, постоянно парализируется какими-то скрытными, но тем не менее совсем не вымышленными влияниями, какими-то закулисными колебаниями, которыми нельзя даже прибрать приличного названия. Остается, следовательно, искать опоры инде, то есть там же, где ищет ее насилие. Вдохновенная газета «Голос» советует искать этой опоры в мнениях «благоразумного большинства», но гг. Оз-н и Кр-ский отвечают на это, что это мнение совсем не большинства, а «семейное мнение, образовавшееся в известных кружках». По-нашему, гг. Оз-н и Кр-ский правы; они очень хорошо понимают, что в таком деле, которое представляет собой беспрерывный гражданский иск, должно принимать в расчет не одну, а обе стороны; они понимают, что мнение – собственно, составляется и высказывается здесь только одною стороною, а какое мнение имеет другая сторона – о том не только никто не интересуется знать, но даже никто и не говорит: точно его совсем нет и быть не может. Если бы оно имело возможность высказываться с тою же ясностью, с какою высказывается мнение сердобских и павлоградских обывателей, то, быть может, и оказалось бы возможным найти в нем опору и противопоставить его домогательствам противной стороны. Однако этого нет, и мировые посредники, волею-неволею, должны оставаться безмолвными даже против таких простодушных обвинений, как «хирург, падающий в обморок при виде крови, не может делать операций». Они не могут даже сказать, что обязанность их заключается не в том, чтобы защищать семейные интересы, а в том, чтобы служить общему делу всей русской земли: за такую продерзость их назовут нигилистами – и дело с концом.

Положение мировых посредников у нас и трудное, и новое. Мы привыкли всякого человека к чему-нибудь приурочивать: либо к сословию, либо к званию. Хоть коллежского регистратора, хоть отставного истопника, а нацепим-таки ему на шею; без этого нам как-то странно даже относиться к человеку, смешно на него смотреть. И вдруг являются люди, которые претендуют действовать во имя общих интересов земства, а не во имя миллионных частиц его, не во имя коллежских ассессоров, не во имя отставных истопников. Сверх того, эти люди и не чиновники (чиновников-то мы поняли бы), потому что деятельность их чисто специальная, внутренне-устроительная и отнюдь не касается ни интересов казны, ни даже интересов общественного спокойствия, в том тесном смысле, в каком мы доселе эти интересы понимали. Там, где эти интересы выступают на сцену, посредники

Неоконченное. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru ступшевыаются и уступают место полиции. Понятно, что такое положение должно было перемешать все наши представления, понятно, что мы начали везде обонять измену, везде видеть «офицеров, не могущих служить в рядах храбрых». Но понятно также, как невыносимо должно быть такое положение для тех, которые в него поставлены, и как прав был г. сердобский уездный предводитель дворянства, утверждая, что личность мировых посредников не безопасна.

Вывести из этого положения мировых посредников крайне необходимо, и притом совсем не так трудно, как это представляется с первого взгляда. Для этого следует только пересмотреть «правила о лицах, имеющих право быть избранными в мировые посредники», равно как и самый порядок избрания, существующий ныне, но, разумеется, пересмотреть их в тех видах, чтобы новым законом создать для мировых учреждений твердую нравственную опору, помимо той формальной опоры, которую предлагает сам закон. Это тем легче сделать, что самые правила, о которых мы говорим, суть правила временные, допущенные в виде опыта на три года. [15]

Лицо, служащее мировому институту, в нынешней ли ограниченной его сфере или в сфере более обширной, какая для него ожидается в будущем, во всяком случае не может быть ни чиновником, ни представителем семейных интересов; оно должно быть живым словом земства. Но это тогда только возможно, когда оно будет обязано своим появлением на поприще общественной деятельности избранию, и притом когда избирательной системе даны будут самые широкие основания. Тогда только избранное лицо будет пользоваться действительным доверием, и тогда только оно получит для действий своих не мнимую, но положительную опору. Здесь уместно было бы нам коснуться вопроса о цензе, которым в прошлом году так усердно занималась наша журналистика, но об этом мы предпочитаем поговорить особо; теперь же мы исполняем только ту часть нашей задачи, которая заключается в исследовании действительных причин странного и исключительного положения мировых посредников в той среде, где им суждено действовать. Ясно, что опоры для них нет нигде; ясно, что они имеют дело только с антагонистами реформы и что, при таких условиях, торжество последних не только легко объясняется, но даже было бы странно, если б оно не проявлялось со всею наглостью и со всеми прибаутками, свойственными национальным нравам...

Теперь посмотрим, в чем заключаются собственно обвинения, взводимые на мировых посредников (опять-таки в особенности на молодых). Несмотря на все их разнообразие, сквозь все эти обвинения звучит одна нота: гнет, дескать, в одну сторону! Что это за «одна сторона», в которую гнет посредник, – это понятно и без объяснения; обратимся лучше к самому существу обвинений. Во-первых, нас прежде всего поражает общность и преувеличенность обвинений. Общность эта выражается бедностью фактов и какою-то кабалистическою их неосвязаемостью. В то время, когда мы были практически прикосновенны к этому делу, нам случалось читать обвинения поистине жалкие: «Ставил, говорит, меня, коллежского асессора, на очные ставки с временнообязанным крестьянином», «требовал, говорит, каких-то свидетелей в подтверждение моей жалобы», «вызывал, говорит, меня, коллежского асессора, в волостное правление и в присутствии моем предложил старшине сесть; сажал и меня, но я не сел»... Что прикажете сказать о таких обвинениях и как уверить жалобщика, что его обвинения не суть обвинения? Как вы ни уверяйте его, как ни смягчайте ваш отказ от разбирательства подобных сплетен, он не внемлет и будет говорить одно: «Да нет, это вы намеренно защищаете посредника, потому что вы враг дворянского сословия вообще!» Он готов и правительство заподозрить во враждебности интересам дворянского сословия! Тут есть какой-то камень в голове, который раздолбить совершенно невозможно и который препятствует пониманию самой обыкновенной идеи. Но это бы еще ничего, если бы дело ограничилось только такими обвинениями; есть другие обвинения, обвинения злостные, наводящие на мысль о какой-то революционной пропаганде. Нечего и говорить, что в этих обвинениях столько же смысла, как и в тех, которые возникли летом 1862 года, по поводу происходивших в Петербурге пожаров, и которые тщились инсинуировать, что пожары эти – дело молодого поколения, горький плод влияния, оказываемого молодою русскою литературою. Нечего и говорить, что эти обвинения суть не более как развитие тех же общих обвинений, о которых было упомянуто выше, и что революционные тенденции и действия, на которые указывают обвинители, заключаются исключительно в том, что мировые посредники сажают старшин, а не заставляют их, в присутствии своем, стоять на ногах. Во всяком случае, обвинения эти действуют и производят впечатление. Почему они действуют? Не потому ли, что мы все, сколько нас ни есть, давая известному явлению право гражданственности, вовсе не думаем ни о сущности его, ни о тех прямых последствиях, которые оно влечет за собою? не потому ли, что, даже принимая реформу, мы все-таки питаем сокровенную

Неоконченное. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru надежду, что все останется по-прежнему, что реформа будет чем-то внешним, каким-то шутовским нарядом, которым прикроеется древняя распущенность? И вот, когда оказывается, что надежды наши обмануты, мы кричим: «пожар!», несмотря на то что пожара совсем нет и все происходит на строгом законном основании; мы обвиняем кого-то в революционных и коммунистических тенденциях и ни разу не спросим, кого же мы обвиняем, кого хотим мы распинать! Неблагодарное паразитическое, но благодатное; непредусмотрительность нелепая, но спасительная.

Во-вторых, никто не хочет принять в соображение то положение, в которое поставлен посредник обстановкою самого дела, которому он служит. Говорят: «посредник гнет в одну сторону»; несмотря на нелепую форму такого обвинения, вы чувствуете, что в нем может быть частица правды, вы чувствуете это тем яснее, чем ближе знакомы с практической стороной дела. Утверждая это, мы вовсе не думаем щеголять перед читателями каким-нибудь дешевым парадоксом; нет, мы очень положительно и очень серьезно утверждаем, что дело не может произойти иначе и что иное течение его тем невозможнее, чем честнее и чище представляется нам личность мирового посредника. Не надо никогда забывать, что посредник имеет дело с двумя сторонами. Одна сторона письменная, называющая сама себя цивилизованною и в самом деле пользующаяся известною дозой образованности; эта сторона и средств больше имеет, да и формулировать свои домогательства может. Другая сторона – безграмотная, имеющая о вещах своеобразные понятия, которые, благодаря вековому сословному разъединению, сделались даже недоступными для цивилизованного меньшинства; эта сторона, скудная средствами, легко пугающаяся, затрудняющаяся даже в способах объяснить толково свои желания и претензии. Обе стороны предъявляют перед посредником иск друг на друга; одна говорит бойко и вразумительно, другая хочет нечто сказать в ответ, но путается; путается не потому, чтобы она не чувствовала своего права, но просто потому, что ей впервые привелось предъявить это право, как право, что ее смущает непривычная обстановка, в которую она внезапно вовлечена. Неужели посредник имеет право воспользоваться неумением и неведением? Неужели он не обязан вызвать сознание права там, где право в действительности существует, а нет только сознания его?

Нет, он не может пользоваться неведением, он обязан вызвать сознание права там, где этого сознания нет, во-первых, потому, что если и нет в данную минуту этого сознания, то никак нельзя ручаться, чтобы возможность этого сознания не явилась никогда. Она явится, быть может, позже, быть может, раньше, но явится – это несомненно. И тогда факт поправки бесспорного права принесет плоды горькие и далеко не безопасные: тогда начнется бесконечный и желчный процесс, и чем дольше и упорнее будет продолжаться непризнание права, тем желчнее и резче будут домогательства его. Кто может предвидеть, чем они разрешатся? Следовательно, в этом смысле посредники являются не пропагандистами революционных идей, но предусмотрительными и благоразумными умиротворителями; следовательно, в этом смысле, чем откровеннее и яснее действия посредника, тем больше они обеспечивают будущее. Во-вторых, посредник обязан вызвать на свет скрывающееся и несознанное право и потому, что это дело всякого человека, имеющего понятие о чести и совести. Пользоваться неведением и простотою могут только люди, составившие себе из этого профессию, но никак не люди совестливые и честные; еще менее позволительно пользоваться простым неумением формулировать право, неумением, дающим иногда такое широкое поле произвольным толкованиям и извращениям...

Нам скажут, быть может, что крестьянам предоставлено право действовать через поверенных, но это возражение едва ли можно назвать основательным. Не говоря уже о той затруднительности, с которою сопряжено отыскивание дельных и честных поверенных, мы просто отсылаем желающих знать, в каком положении находится у нас адвокатура по крестьянским делам, к статье г. Громеки, напечатанной в ноябрьской книжке «Отечественных записок» за 1862 год. Из нее читатель увидит, что это за адвокатура и до какой степени может быть приятна профессия адвоката. [16]

Таким образом, мировой посредник, незаметно для самого себя, одною силою вещей, делается и судьей, и ходатаем... Конечно, в таком отношении к делу не может быть строгой правильности, но кто же виноват в этом? Виноваты ли гг. Оз-ны и Кр-ские и не поступили ли бы гг. Ю-вы, Ш-ны, Н-ны и М-ры точно так же, как и они, если б силою обстоятельств были поставлены в подобное же положение?

Как бы то ни было, но обвинения противу мировых посредников существуют; легкость противодействия мировым учреждениям тоже не подлежит никакому сомнению. Странно было бы, если б протест замедлил своим заявлением.

Неоконченное. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru И он не замедлил; насилие явилось во всех видах и со всеми атрибутами, насилие дикое, позорное, вооруженное кулаками.

Мы, с своей стороны, не удивляемся этому. Мы старались, по мере сил наших, изложить положение дела и взаимные отношения заинтересованных сторон; результат этих изысканий следующий: да, вражда возможна, протест возможен. Затем, в каких формах является этот протест, час ли продолжается драка или полтора часа, до этого нам нет надобности, ибо это дело домашнее. Это явление до того отвратительное, что омерзение, которое оно поселяет, мешает нам даже приблизиться к месту сражения и освидетельствовать его.

Одно можем сказать мы: Александр Б. явил себя изрядным хирургом, и павлоградские обыватели могут смело дать ему патент на делание операций – он не упадет в обморок при виде крови.

Гораздо важнее для нас другой вопрос: какого рода поучительный пример в будущем можно извлечь из этой драки? Корреспондент «Мирового посредника», описывающий происшествие точь-в-точь подобное тому, которое мы привели выше, поднимает перед нами край завесы, скрывающей это будущее, и нам ничего не остается, как заключить настоящую статью словами его. «Худой пример подаете вы, господа, – говорит он, – вы беретесь за плеть, а что, если, глядя на вас и подражая вам, другие возьмутся за обух?» (см. «Мировой посредник» за 1862 г., № 25).

С этим, действительно, нельзя не согласиться: худой пример!

ДОПОЛНЕНИЕ К «ИЗВЕСТИЮ ИЗ ПОЛТАВСКОЙ ГУБЕРНИИ» [17]

Нас просят известить почтеннейшую публику, что в названной выше статье, помещенной в I томе «Современника», вкрались некоторые неверности и что г. С. вовсе не такой идеальный посредник, каким он представляется «Современнику». Из полученного нами по этому делу нового письма явствует:

1) что г. С. тот самый мировой посредник, о котором в 3 № «дня» изображено, что он, при вводе в одном имении уставной грамоты, действовал с таким убеждением, что выколочил палкой глаз семидесятилетнему старику, крестьянину Дыкансо.

2) что гг. С. и З. (у которого в доме произошла история избияния г. С.) составляют одну компанию.

3) что г. З. выбил временнообязанному крестьянину своему, Ивану Ключану, два зуба, а посредник С., которому Ключан принес жалобу, вместо всякого удовлетворения, приказал ему разинуть рот и, заглянув туда, сказал: «Ты лжешь, мерзавец! у тебя целы корни, а зубы выбиваются с корнями!»

4) что тот же г. З. принес посреднику С. жалобу в том, что он, «к крайнему своему изумлению, поймал самолично, в полунощное время, бабу Гарпину, с украденными из господской кладовой куриными яйцами и сальными свечами, которые она несла в переднике своей запаски, а всего на сумму 30 р. сер.», и что посредник С., вместо того чтобы разобрать дело и понять, что баба никак не может унести в своем переднике яиц и сальных свечей на сумму 30 р. с., посадил бабу Гарпину в «холодную». Баба была беременная, испугалась и родила мертвого ребенка.

5) что г. С., сверх того, многих кучеров не удовлетворил и имел даже по этому случаю историю с г. К., который, вследствие сего, вынужден был оставить Полтаву и удалиться в г. Вельск Вологодской губернии.

6) что гг. Б., напротив того, очень хорошие люди и подарили своим временнообязанным крестьянам их усадьбы и полевой надел, за что и заслужили неприязнь со стороны прочих помещиков Полтавского уезда,

и 7) что хотя в доме З. и действительно была драка, но зачинщиком одной был посредник С., а отнюдь не Александр Б.

Помещая эти поправки, оставляем, впрочем, их достоверность на ответственности того лица, которое нам их доставило. С своей стороны, считаем долгом присовокупить, что мы вовсе не имели намерения рассматривать г. С. как «идеального мирового посредника»; мы даже вовсе не желали рассматривать г. С. ни с какой точки зрения. Нас занимали, собственно, непрерывные известия о

Неоконченное. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru различных кулачных казусах, случающихся с мировыми посредниками, и, по мере сил наших, мы старались вывести из этих частных фактов общее заключение. Успели ли мы в этом – это другой вопрос, но во всяком случае нас интересовал не С., а факт драки, факт далеко не уединенный. Затем, г. С. может выкалывать глаза, может сажать бабу Гарпину в «холодную», может высказывать те или другие мнения насчет выбивания зубов с корнями, до нас это нисколько относиться не может. Это дело местных административных и судебных властей, которые, вероятно, найдут средство пролить мир и спокойствие в взволнованную душу г. С. А нам взволнованными душами заниматься не приходится, ибо протяжение Российской империи великое и взволнованных людей на этом протяжении обретается множество.

ЕЩЕ ПО ПОВОДУ «ЗАМЕТКИ ИЗ ПОЛТАВСКОЙ ГУБЕРНИИ» [18]

Несмотря на то что заметка наша имела в виду не столько частный факт побоев мирового посредника С., сколько явление, повторившееся одновременно в нескольких местах, несмотря на то что мы и смотрели на него именно с точки зрения причин, его обусловивших, а чем уже и заявляли в 3 № нашего журнала за сей год, мы продолжаем получать по этому делу поправки и замечания. Замечания эти главнейшим образом трактуют о том, будто бы мы приняли на себя защиту и оправдание посредника С., которого деятельность не заключает в себе ничего похвального. При этом нам сообщают и некоторые сведения о г. С., не совсем для него лестные, то есть всё в том же роде, в каком уже было опубликовано одно сведение в газете «День». Даже есть нечто и похуже: между прочим, история с г. К. разъясняется очень гадко.

По этому поводу второй раз считаем долгом повторить, что ни г. С. и никого вообще из участников этой истории мы не знаем, да и знать не желаем, и что самый факт драки обратил наше внимание единственно с точки зрения тех общих заключений, которые можно было вывести из всех подобного свойства фактов, которых в нашей статье приведено не мало.

ПРИМЕЧАНИЕ

<В ЧИСЛЕ ФИЛОСОФСКИХ УЧЕНИЙ...>

При жизни Салтыкова не печаталось. Впервые – ЛН, т. 11–12, М., 1933, стр. 350–351 (публикация Н. В. Яковлева, вступ. статья С. А. Ма-кашина), под заглавием «Пошехонье откликнулось...». В настоящем издании печатается по рукописи.

На принадлежность данного отрывка к «Пошехонским рассказам» указывают начальные строки рукописи, зачеркнутые автором:

Пошехонье откликнулось. На днях я получил от одного из местных аборигенов следующее письмо:

«В качестве обывателя одного из многочисленных русских Пошехонцев, считаю бесполезным отозваться на ваши рассказы, в которых, по правде сказать».

Этот текст, начальная фраза которого была взята для заглавия при его первой публикации, не единственно зачеркнутый в рукописи. Приводим еще два зачеркнутых места.

К стр. 287, после абзаца «Каким образом...»:

Прежде этот роман был ясен только для избранников, однако же справедливость и добро все-таки выполняли свою задачу; ныне, когда сознание добра проникло уже в самые глубины масс, победа его неизбежно должна принять еще более решительный характер.

К стр. 287–288, после абзаца «Но что важнее всего...»:

Пошехонцы всегда были сторонниками торжества добрых начал. Как только запахнет в воздухе «благими начинаниями» – сейчас они тут как тут. Ликуют, плещут руками, земли под собой не слышат. Но едва запахнет откуда-то гарью – они сейчас к сторонке. Стоят и недоумевают: как это так? все было хорошо и вдруг сделалось худо! В этом проходит вся их жизнь. Добро – приветствуют, зла – избегают. И ставят это себе в заслугу, гордятся этим. «Мы, говорят, в худых делах не

Неоконченное. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru участвуем, потому знаем, что это стыдно. А стоять и хлопать глазами – не стыдно».

Судя по первым вычеркнутым строкам рукописи, приведенным выше, непосредственным толчком к написанию данного текста явилось, действительно, какое-то читательское письмо, полученное Салтыковым от «обывателя одного из многочисленных русских Пошехоньев». По предположению С. А. Макашина, публикуемый текст следует, возможно, рассматривать как незаконченный набросок еще одного «вечера» из «Пошехонских рассказов», предназначавшегося для включения в отдельное издание цикла, быть может, в качестве своего рода послесловия к книге.

«МЕЖДУ ДЕЛОМ»
(Продолжение)

При жизни Салтыкова напечатано не было. Впервые – ЛН, т. 11–12. М., 1933, стр. 307–312 (публикация Н. В. Яковлева). Печатается по рукописи.

Очерк задуман как продолжение четвертой главы и предназначался, по предположению Н. В. Яковлева, для ноябрьской или декабрьской книжки «Отч. записок» 1875 года. Кроме черновой рукописи первой редакции, текст которой опубликован Н. В. Яковлевым полностью, начало очерка представлено еще и рукописью второй редакции. Вторая редакция, почти не отличаясь в начальной части от первой, имеет другое продолжение. Приводим вариант рукописи второй редакции.

Стр. 289, после абзаца: «Говорят: литература уклонилась от благородного пути...» – в рукописи следует:

Очевидно, дело заключается в том, что задачи новой литературы сделались яснее и строже. Литература не забавляет, не раздражает плотских вожделений, а напоминает о совести и призывает к самосознанию. Слова эти до такой степени необычны в сферах культурного слоя, что слабым культурным умом невольно овладевают смутные подозрения. Грезится, что культурной праздности готовится какой-то удар и что этот удар придет непременно оттуда, из недр той постылой и ненавистой литературы, которая вместе с неслыханными словами вводит в жизнь и неслыханные понятия. До сих пор литература блуждала в области, в области малой безделицы, изыскивала средства к улучшению ее быта, и только в исключительных случаях брала в руки лиру и восклицала:

О росс! о росс непо<бе>димый!

О твердокаменная грудь! –

и вдруг из высших сфер безделицы она спустилась в какую-то темную яму, и поставила себе задачей воззвать к жизни всех гадов, кишящих на дне ее! Зачем? загадочность этого перехода возбуждает недоумение; ум, развращенный обманами литературного сквернословия, не находит в себе достаточной силы, чтобы выдержать обличения действительности. Книга, которая в былые времена, была любезна культурному человеку, ибо распалая его чувственность <1 слово нрзб.> становится для него постылою. Оставляя в стороне вопрос об опасностях, об угрозах нашествия новых варваров, он просто не находит в ней ничего подходящего к тому нравственному и умственному уровню, который выработало в нем полуторавековое культурное наслоение. И он бежит на улицу, в рестораны, в клубы, в дома терпимости – и всюду испускает целые потоки сквернословия. Сквернословия бессодержательного, даже бесцеремонного, но имеющего свойство гулко раздаваться по всем углам лесной чащи, которой непрерывные, хотя и не всегда видимые для глаз насаждения простираются «от хладных финских скал до пламенной Колхиды».

Тем не менее как ни бессодержательно это <1 слово нрзб.>, но влияние ее на литературу бесспорно и решительно. Ради ее она утопает в недомолвках и оговорках, ради ее она сохраняет езоповские формы иносказания. Ибо где же найдет она тот противовес, который дал бы ей средство держаться в борьбе с самозванцами культуры? Где тот читатель, настолько сильный, от которого она могла бы ждать для себя защиты и спасения?

ЗАБЫТЫЕ СЛОВА

Начало неоконченного произведения. Опубликовано посмертно в ВЕ, 1889, № 6, с. 847–848. Рукопись (черновая) – ИРЛИ, № 278. В наст. изд. печатается по рукописи.

После того как Салтыков закончил работу над последними главами «Пошехонской старины», в его писательском труде возникла пауза. Он был измучен болезнями и,

Неоконченное. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru сверх того, хлопотами об издании собрания своих сочинений. «Вот уже почти 6 месяцев ничего не пишу, да и не думаю, чтоб творческая сила когда-нибудь восстановилась», – сообщил Салтыков Н. А. Белоголовому (21 февраля 1889 г.). Действительно, надежд на новый подъем творческой активности было мало. Жизнь писателя быстро приближалась к концу. Он знал это и даже собственноручно заготовил для газет текст объявления о собственной своей смерти. И все же, пользуясь краткими интервалами облегчений в своих страданиях, Салтыков приступил весной 1889 года к работе над новым произведением под названием «Забывшие слова». По свидетельству Л. Ф. Пантелеева, «они <<Забывшие слова>> были совсем готовы, то есть обдуманы, оставалось только написать».[19] Но болезнь и смерть прекратили начатую работу на первой же странице, ставшей последней страницей Салтыкова.

Написанный в жанре своего рода «стихотворения в прозе» и в символистски-иносказательной манере, зачин нового произведения исполнен редкой, даже для Салтыкова, мрачности и щемящей тоски. Они внушены мыслями человека, уже обвитого «властной рукой» смерти, и вместе с тем порождены той «мучительной восприимчивостью», с какою писатель относился к социальной современности и которая не покинула его и в предсмертные месяцы и дни. «Оголтелое царство» удручающего «безмолвия» и «серых тонов», царство беззвучно реющих «серых птиц» и клубящихся в болоте «серых гадов» – это еще одно, и самое жутко-зловещее, изображение реакции 80-х годов. Здесь ее образ расширяется и углубляется до космического масштаба – потухания «вселенской жизни» под игом «всеобщего омертвения».

Написанная страница является всего лишь приступом к экспозиции задуманного «большого произведения».[20] Как полагает А. Н. Пыпин, близко стоявший к первоисточникам информации о жизни и трудах Салтыкова в последнее пятилетие его жизни, вслед за картиной нашествия смерти «должна была явиться картина забвения идеалов в упадающем нравственно обществе».[21]

О содержании и значении последнего творческого замысла Салтыкова сохранилось несколько мемуарных свидетельств. Важнейшее среди них принадлежит анонимному автору заметки «От редакции», предпосланной первопечатной публикации «Забывших слов» в «Вестнике Европы» (этим автором был либо тот же А. Н. Пыпин, либо М. М. Стасюлевич).

«Из бесед с ним <Салтыковым>, – читаем в названной заметке, – было видно, что в последнее время его посетила, так сказать, новая гостья-идея, осуществление которой в высшей степени заинтересовало его. Трудно с точностью формулировать этот новый и предсмертный замысел Салтыкова <...>. В беседах с близкими ему людьми Салтыков высказывался, но весьма кратко и отрывочно, относительно темы замышленного им труда <...>. Не раз, по поводу тех или других явлений текущей общественной жизни или прочтенной им статьи в газете, он повторял как бы самому себе: «Да, это теперь все забытые слова, следует их напомнить» <...>. Раз, – это было в ноябре или декабре прошлого <1888> года, – он как будто точнее формулировал свой литературный замысел, и среди разговора о чем-то, наведшем его опять на мысль о «забытых словах», он вдруг прервал себя и обратился с вопросом: прожив столько лет и столько испытав, может ли он и имеет ли право и обязанность написать свое «завещание»? Из его же слов было видно, что дело тут идет не о духовном завещании, а все о том же, новом его литературном замысле. Но попытка поддержать с ним разговор в этом направлении, как это часто бывало и в других подобных случаях, прервалась в самом начале жалобами его на болезни и невозможность писать...»

Таким образом, незадолго до смерти Салтыков намеревался подняться на новую вершину. С нее он хотел не только еще раз обозреть свою печальную современность – годы тяжелой реакции, но и обратиться к читателю со словами литературного завещания. «Мне хотелось бы перед смертью, – говорил Салтыков Г. З. Елисееву, – напомнить публике о когда-то ценных и веских для нее словах: стыд, совесть, честь и т. п., которые ныне забыты и ни на кого не действуют».[22] «Стоя одной ногой в гробу, – вспоминал со своей стороны Н. К. Михайловский, – Щедрин мечтал о новой большой работе, которая должна была называться «Забывшие слова» <...>. «Были, знаете, слова: – говорил он мне незадолго до смерти, – ну, совесть, отечество, человечество... другие там еще... А теперь потрудитесь-ка их поискать! Надо же напомнить...»[23]

Значение, которое Салтыков придавал своему последнему замыслу, уясняется, сверх сообщенного выше, словами, сказанными им С. Н. Кривенко: «А вот о чем жалею, –

Неоконченное. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru для этого стоило бы начать снова жить: я задумал новую большую вещь – «Забытые слова». – И он рассказал программу этой новой работы». [24]

«Слова», напоминанием о которых Салтыков хотел оживить омертвевшее, в его восприятии, царство «восьмидесятничества», были все те же социальные и нравственные ценности, все те же идеалы демократизма и социализма (утопического), которыми с юных лет вдохновлялись жизнь и творчество писателя и которые присутствуют во всем, что вышло из-под его пера. Теперь мы знаем, что в восьмидесятые годы под покровом торжествующей реакции в России закладывались основы нового революционного мировоззрения и действия». Именно в эти «глухие» годы передовая мысль страны сделала скачок от старого народнического демократизма и социализма к марксизму. Но это были уже новые слова, которых не знал, не мог знать Салтыков.

Перепечатки из «Вестника Европы» «Забытых слов» появились во многих газетах и журналах 1889 года, в сопровождении разного рода лирических и публицистических откликов. Были и писательские отклики. Главные среди них: стихотворение Алексея Жемчужникова «Забытые слова» [25] и заключительный очерк в цикле Гл. Успенского «Концов не соберешь» [26] о «Забытых словах» упомянул в одном из своих интервью 1912 года ив. Бунин. [27]

АВТОБИОГРАФИИ

Произведения Салтыкова богаты автобиографическими материалами – от отдельных элементов до цельных картин («Скука», «Добрая душа», «Имярек», «Приключение с Крамольниковым», особенно «Пошехонская старина» и др.). Но собственно автобиографических сочинений широкого содержания, охватывающих большую часть жизни, у Салтыкова нет. Откликаясь на обращенные к нему просьбы или по собственному почину, он в разное время написал шесть кратких автобиографических «записок». Материал их относится в основном к детским и лицейским годам. К этим шести автобиографическим документам в настоящем издании впервые присоединяется седьмой – дошедший до нас фрагмент так называемой «Оправдательной записки» Салтыкова, предположительно датированной в рамках последних лет его жизни.

В помещаемых ниже примечаниях приводятся необходимые справки и фактические уточнения лишь к сообщаемым в «записках» сведениям. Более широкий комментарий и указания на материалы, дополняющие содержание публикуемых записок – см. в книге: С. Макашин. Салтыков-Щедрин. Биография. I. Изд. 2-е. М., 1951.

I

Впервые – в издании: «М. Е. Салтыков-Щедрин. 1889–1939. Памятка». Л., 1939, с. 3–4. Автограф – в ГПБ (Архив М. Е. Салтыкова-Щедрина, ф. 668, ед. хр. 1). Написано в конце 1857 года или в начале (до марта) 1858 года для «Русского художественного листка» В. Ф. Тимма. См. «Отчет императорской Публичной библиотеки за 1871 г.», с. 59.

Стр. 467. Начал писать еще в Лицее... – Все приведенные в известность произведения лицейского периода Салтыкова и первых послелицейских лет (стихи, проза, рецензии) – см. в т. 1 наст. изд.

С 1848 по 1856 – в литературной деятельности перерыв. – В 1848 г. Салтыков был выслан на службу в Вятку, где провел семь с половиной лет.

Стр. 468. «Скука», «Неумелые... «Озорники» и «Дорога» – все из «Губернских очерков». См. в т. 2 наст. изд.

II

Впервые в издании: «Знакомые. Альбом М. И. Семевского, издателя-редактора исторического журнала «Русская старина». Книга автобиографических собственноручных заметок 850-ти лиц. – Воспоминания. – Стихотворения. – Эпиграммы. – Шутки. – Подписи. 1867–1887 гг., СПб., 1888, с. 73. Автограф – в ИРЛИ (Архив М. И. Семевского, ф. 274, оп. 1, № 395): запись в альбоме М. И. Семевского «Знакомые. Книга автографов» – 1867–1887 гг., т. I.

В заключительной строке «Умер...» рукой М. И. Семевского, красным карандашом вписана дата смерти писателя: «1889». На том же листе, в нижней части, автобиографическая запись В. П. Гаевского, датированная 25 апреля 1874 г., сделанная, по-видимому, одновременно с записью Салтыкова. Отсюда датировка записи.

Неоконченное. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru

Стр. 468...возвратился в Петербург в январе 1856 г. – приехал 13 или 14 января.

III

Впервые (с сокращениями и изменениями) в издании: «Русская библиотека. VIII. Михаил Евграфович Салтыков (Н. Щедрин)». СПб., 1878. Автограф – в ИРЛИ (ф. 366, оп. 1, № 280). Рукою М. М. Стасюлевича вписано заглавие «Автобиография М. Е. Салтыкова, собственноручная» и проставлена дата «СПб., апрель 1878».

Стр. 468. Учиться грамоте... начал семи лет, а именно в день своего рождения – 15 января 1833 г... – Обучение Салтыкова началось значительно раньше, чем он указывает. Ему не исполнилось полных четырех лет, когда в конце 1829 года он стал «заниматься» французским у гувернантки старших детей «мадам де Ламбер». Получив известие о начале этих занятий, сестра Надежда, воспитывавшаяся в московском Екатерининском институте, писала родителям 7 ноября 1829 года: «... очень рада, узнав, что Мишенька также послушен и учится азбуке». [28] Обучение русской грамоте крепостным живописцем и одновременно садовником Павлом Соколовым, возможно, также началось раньше чем в семь лет. Во всяком случае, в более позднем автобиографическом письме Салтыкова к С. А. Венгеру (см. ниже) содержится другое утверждение: «Грамоте меня обучил крепостной человек, когда мне было 6 лет».

... священник села Заозерья, Иван Васильевич... – Это был священник села Заозерье (ярославской части вотчины Салтыковых) Иван Васильевич Преображенский. Занятия по латыни происходили с ним в зиму 1835/36 года, проведенную Салтыковым в Заозерье.

Стр. 470...С выходом из Лицея и до настоящего времени Салтыков ни одного стиха не написал. – Не вполне точно: журнальная полемика Салтыкова 1864 г. содержит несколько написанных им пародийно-сатирических стихотворений (см. т. 5 наст. изд.).

IV

ЗАПИСКА 1887 г. <?>

Автограф неизвестен. Опубликовано в журнале «Вестник Европы», 1890, № 2. Фрагмент пригласительной записки Салтыкова на день своего рождения, адресованный неуказанному лицу, скорее всего, А. И. Унковскому.

Ср. с публикуемым текстом запись о рождении Салтыкова в метрической книге:

«в 1826 году, под № 2, села Спасского г. Коллежского советника и кавалера Евграфа Васильевича Салтыкова жена Ольга Михайловна родила сына Михаила января 15, которого молился и крестил того же месяца 17-го числа священник Иван Яковлев со причетники; воспитателем ему был московский мещанин Дмитрий Михайлов». [29]

Слова прорицания восприемника о «разгонщике женском» перешли в «Пошехонскую старину»: «Кроме того, он предсказал... что я многих супостатов покорю и буду девичьим разгонником».

V

АВТОБИОГРАФИЧЕСКОЕ ПИСЬМО С. А. ВЕНГЕРОВУ 1887 г.

Впервые – РВ, 1893, № 208; факсимиле – в издании: К. К. Арсеньев.

Салтыков-Щедрин (Литературно-общественная характеристика), СПб., 1906, без пагин., после с. 278 и 280. Автограф – в ИРЛИ ((ф. 366, оп. 1, № 281).

Письмо – ответы на вопросник биобиблиографического словаря С. А. Венгерова.

Стр. 471. Род мой старинный... Генеалогическое древо Салтыковых восходит к XIII в., к потомству новгородца Михаила Прушанича (Прошанича, Прушенина), «мужа храбра и честна», чей сын Терентий прославил себя в Невской битве 1240 г. Однако первые достоверные сведения о дальних предках писателя и о возникновении Салтыковской вотчины в пределах Тверской земли относятся к XVI в.

...находится во владении детей моего старшего брата. – Село Спас-Угол с деревнями – старинный центр Тверской вотчины Салтыковых, после смерти в 1885 г. Дмитрия Евграфовича перешло к его сыновьям: Василию, Михаилу и Николаю Дмитриевичам.

Неоконченное. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
...старшая сестра – Надежда Евграфовна (впоследствии, по мужу, Епифанова).

Кажется, в 1842 г. было напечатано в «Библиотека для чтения» мое первое стихотворение «Лира». – Не в 1842 г., а в 1841 году.

Первую повесть «Недоразумение»... – Ошибка памяти или ирония: первая повесть Салтыкова называется «Противоречие».

Помнится, Белинский назвал ее бредом младенческой души. – Белинский резко, но иначе – «идиотская глупость» – отозвался о всей беллетристике «Отечественных записок» за 1847 г., повесть Салтыкова не была выделена. Отзыв этот был дан не в печати, а в частном письме (к В. П. Боткину от 4–8 апреля 1847 г.) и дошел, видимо, до Салтыкова по слухам, неточно. Впоследствии Салтыков не раз вспоминал в своих сочинениях этот отзыв, но всегда в вольном изложении и иронически («бред куриной души», «бред больного ума»).

Стр. 472...был редактором «Отеч. зап.» по 1883 год. – Неточно. Был редактором журнала вплоть до его закрытия правительством 20 апреля 1884 г.

На иностранные языки были переведены... – К 1887 г. на иностранные языки было переведено значительно больше произведений Салтыкова, чем он указывает. См. об этом: С. Макашин. Материалы для библиографии переводов сочинений Щедрина на иностранные языки и критической литературы о нем за 1861–1933 гг. – ЛН, т. 13–14, м., 1934, с. 673–698 и Н. Келейникова. Салтыков-Щедрин в западноевропейской критике. Рукопись диссертации.

VI

ЗАПИСКА 1887 г.

Впервые в издании: «Знакомые. Альбом М. И. Семевского...» (цит. изд.), СПб., 1888, с. 208. Автограф – в ИРЛИ (Архив М. И. Семевского, ф. 274, оп. 1, № 396): запись в альбоме М. И. Семевского «Знакомые». Книга автографов. 1880–1888. II», с. 208.

VII

ОПРАВДАТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 1888 или 1889 г.

Сохранившийся фрагмент

Впервые – К. Арсеньев. Материалы для биографии М. Е. Салтыкова. – ВЕ, 1890, № 2, с. 819. Автобиографический набросок (начало записки) был найден в бумагах Салтыкова после его смерти и затем утрачен.

Содержание и назначение наброска уясняются в свете следующих слов из письма Салтыкова к Н. А. Белоголовому из Петербурга от 26 апреля 1888 г.:

«Скоро будет три месяца, как голова у меня перестала работать. Хотелось бы уехать отсюда, освободить от себя, [30] но не знаю, куда и как это сделать. Весь мир закрыт для меня, благодаря злему недугу.

Еще хотелось бы настолько иметь сил, чтоб написать оправдательную записку с изложением последних лет моей горькой жизни, с тем, чтоб напечатали ее после смерти. Но это вряд ли удастся».

Стр. 473...но с 1875 г. – В конце 1874 г. Салтыков заболел суставным ревматизмом. Весной 1875 г. болезнь настолько обострилась и осложнилась, что врачи опасались за жизнь писателя. Он был направлен тогда для лечения на целый год за границу.

ДЕТИ

Рукопись первой незавершенной редакции статьи, написанной для газеты «Русские ведомости», сентябрь 1887 года (№ 243). Статья послужила основой для гл. VI «Пошехонской старины». См. комментарий, с. 554.

ВАЛЕНТИН БУРМАКИН

Отрывок из рукописи первой редакции гл. XXIX, сентябрь 1888 года (№ 270). См. комментарий, с. 570.

ПЕРХУНОВ И МЕТАЛЬНИКОВ

Рукопись первой незавершенной редакции главы «Перхунов и Метальников», сентябрь – ноябрь 1888 года (№ 274). Видимо, сначала глава была задумана как самостоятельная. В дальнейшем материал ее вошел в гл. XXX печатного текста. См.

Неоконченное. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
комментарий, с. 571–572.

БРАТЯ УРВАНЦОВЫ

Рукопись самостоятельной главы, ставшей в дальнейшем частью печатного текста гл. XXX. Сентябрь – ноябрь 1888 года (№ 275).

<КТО НЕ ЕДАЛ С СЛЕЗАМИ ХЛЕБА...>

При жизни Салтыкова этот текст не публиковался в качестве самостоятельного произведения, и неясно, представляет ли он законченную статью или, скорее, фрагмент какого-то более обширного замысла. Значительная часть текста вошла, в измененном виде, отдельными абзацами, перетасованными с новым текстом, в «Письмо шестое» цикла «Письма о провинции» (ср. стр. 491–492 и 254–255, 492–495 и 248–251). На основании этих обстоятельств текст «кто не едал...» помещается в настоящем издании не в основном разделе, а в разделе «Неоконченное».

Впервые статья опубликована Н. Яковлевым в ЛН, т. 11/12, стр. 245–251, по черновой автографической рукописи без заглавия. В настоящем издании печатается по указанной рукописи – единственному источнику текста.

Работа над «кто не едал...» относится, скорее всего, к лету 1868 г., ко времени, непосредственно предшествовавшему возникновению «Письма шестого» цикла «Письма о провинции», с содержанием которого статья тесно связана и в котором, как сказано, использована большая часть ее текста. Обычно такие включения текста неопубликованных произведений в новые производились Салтыковым вскоре после написания первых и как только выяснялось, что по каким-либо обстоятельствам они не могут быть опубликованы в данный момент. В пользу отнесения «кто не едал...» к лету 1868 г. говорит и непосредственная переключка суждений о русской истории в этом наброске с «Историей одного города», печатавшейся в «Отеч. записках» с начала 1869 г., а также употребление в «кто не едал...» сатирического понятия «чужеродные» (стр. 490), совпадающего с характеристикой помещичьего паразитизма в пятом «письме из провинции», опубликованном в сентябре 1868 г.

Стр. 489. Кто не едал с слезами хлеба <...> гласит Гете в плохом переводе Г. Струговщикова. – Цитируется начало стихотворения Гете «Арфист» по изданию: «Стихотворения Александра Струговщикова, заимствованные из Гете и Шиллера», кн. 1, СПб. 1845, стр. 40. В предисловии Струговщиков писал, что «не считает себя вправе выдавать» предлагаемые стихотворения за переводы: он стремился передать лишь «главнейшие впечатления подлинника», «общий тон и колорит» (там же, стр. II).

Стр. 491...толпа <...> одна только и может, с законным основанием, назваться «властительницей наших дум». – «Властителем наших дум» назвал Пушкин Байрона в стихотворении «К морю».

Стр. 493...к какой угодно высшей цели. – То есть к проповеди социализма.

...как выражается г-жа Падейкова... – См. рассказ «Госпожа Падейкова» в т. 3 наст. изд.

ЛЕГКОВЕСНЫЕ

При жизни Салтыкова эта первая редакция очерка не была опубликована по цензурным причинам (подробнее см. на стр. 535–536 и 554). Начальная и заключительная части опубликованы Б. Эйхенбаумом в т. 7 изд. 1933–1941, стр. 502–505, по рукописи.

В настоящем издании впервые публикуется полностью по указанной рукописи. Большую часть рукописи составляет копия рукой Е. А. Салтыковой, с авторскими поправками, остальная часть – беловой автограф Салтыкова, обозначенный им цифрой «4». Рукопись предназначалась для набора: об этом свидетельствует помета в углу первого листа – «Отеч. зап. № 1, отд. 2–е».

Текст настоящей первой редакции частично, в переработанном виде, был использован Салтыковым в очерке «Лит. положение» и в «Письме четвертом» цикла «Писем о провинции» (ср. стр. 499 и 55, 500 и 71, 505–509 и 226–229).

ГЛАВА V

Первая редакция

О первой публикации первоначальных редакций пятой главы «Итогов» и установлении их последовательности см. выше, стр. 657–658.

Первая редакция представляет собою черновой автограф с многочисленными вставками и несколькими вычерками. На полях последнего листа автографа имеются две карандашные выписки рукой Салтыкова: помета «Du Vois Calame» [31] и цитата «Запасиися крестьянин хлебом, // Ест добры щи и пиво пьет. Державин. Осень во время осады Очакова».

Текст первой редакции пятой главы печатается в настоящем издании полностью, по окончательному слою рукописи (варианты не представляют самостоятельного значения и не приводятся).

Стр. 517. «Золотой век не позади, а впереди нас», – сказал один из лучших людей нашего времени... – Салтыков цитирует книгу П. Леру «De l'humanité, de son principe et de son avenir» (второе изд., Париж, 1845) – «О человечестве, его принципах и его будущем». См. также стр. 480 и 661 в наст. томе.

Два фрагмента третьей редакции

О первой публикации фрагментов третьей редакции см. выше, стр. 658.

Первый фрагмент представляет собой беловую вставку в начало рукописи, в текст, выработавшийся на основе абзацев второй редакции «Совсем другой смысл...» – «Все это неопровержимо доказывается...» (стр. 473–475). Кроме того, ранее в рукописи имеется еще небольшая выписка рукой Салтыкова на полях, против рассуждения о понятии «авторитет» (см. стр. 475):

Но великий человек не приобщился нашим слабостям! Он не знал, что мы и плоть и кровь! Он был велик и силен, а мы родились и малы и худы, нам нужны были общие уставы человечества!

Речь проф. Моск. ун. Морошкина «Об Уложении

и его дальнейшем развитии».

Второй фрагмент является новой редакцией конца главы и представляет собой частично перебеленную рукопись, частично – черновую. Текст его выработывался на основе абзацев второй редакции пятой главы «Но ловкие люди и тут отыскивают...» – «А между тем в этом изобилии...» (стр. 481–486).

СКАЗАНИЕ О СТРАНСТВИИ И ПУТЕШЕСТВИИ
ПО РОССИИ, МОЛДАВИИ, ТУРЦИИ И СВЯТОЙ ЗЕМЛЕ
ПОСТРИЖЕННИКА СВЯТЫЯ ГОРЫ АФОНСКИЯ ИНОКА
ПАРФЕНИЯ (Первая редакция)

Первоначальная редакция незаконченной статьи-рецензии Салтыкова 1857 г. При жизни автора не публиковалась. Воспроизводится полностью впервые по черновому автографу. Текст подготовлен для печати Н. С. Никитиной. Та же рукопись содержит вторую, существенно отличающуюся от первой, редакцию статьи. Она печатается в основном разделе настоящего тома. См. выше общий комментарий к обеим редакциям.

Стр. 479...нашими Тирсисами – см. прим. к стр. 304.

Стр. 492. Антидор – остатки просфоры («причастия»), которые после богослужения раздавались молящимся в церкви.

ИЗВЕСТИЕ ИЗ ПОЛТАВСКОЙ ГУБЕРНИИ
ДОПОЛНЕНИЕ К «ИЗВЕСТИЮ ИЗ ПОЛТАВСКОЙ
ГУБЕРНИИ»

ЕЩЕ ПО ПОВОДУ «ЗАМЕТКИ ИЗ ПОЛТАВСКОЙ ГУБЕРНИИ»

Впервые – в журнале «Современник», 1863: 1) № 1–2, отд. II, стр. 47–62; 2) № 3, отд. II, стр. 173–174; 3) № 5, отд. II, стр. 158. Без подписи. Авторство Салтыкова установлено В. Е. Евгеньевым-Максимовым на основании документов конторы «Современника» (В. Е. Евгеньев-Максимов. В тисках реакции, М. –Л. 1926, стр. 133. См. также «Литературное наследство», т. 13–14, 1934, стр. 70).

«Известие из Полтавской губернии» является переработкой статьи «Несчастье в Порхове», которая по не совсем ясным причинам, но, несомненно, не по авторской воле не могла появиться в «Современнике» в своем первоначальном виде. Подробнее об этом, так же как и об обстоятельствах, вызвавших необходимость в написании

Неоконченное. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru двух дополнительных заметок, см. выше, в комментарии к статье «Несчастье в Порхове».

ИЗВЕСТИЕ ИЗ ПОЛТАВСКОЙ ГУБЕРНИИ
ДОПОЛНЕНИЕ К «ИЗВЕСТИЮ ИЗ ПОЛТАВСКОЙ
ГУБЕРНИИ»

ЕЩЕ ПО ПОВОДУ «ЗАМЕТКИ ИЗ ПОЛТАВСКОЙ ГУБЕРНИИ»
Впервые – в журнале «Современник», 1863: 1) № 1–2, отд. II, стр. 47–62; 2) № 3, отд. II, стр. 173–174; 3) № 5, отд. II, стр. 158. Без подписи. Авторство Салтыкова установлено В. Е. Евгеньевым-Максимовым на основании документов конторы «Современника» (В. Е. Евгеньев-Максимов. В тисках реакции, М. –Л. 1926, стр. 133. См. также «Литературное наследство», т. 13–14, 1934, стр. 70).

«Известие из Полтавской губернии» является переработкой статьи «Несчастье в Порхове», которая по не совсем ясным причинам, но, несомненно, не по авторской воле не могла появиться в «Современнике» в своем первоначальном виде. Подробнее об этом, так же как и об обстоятельствах, вызвавших необходимость в написании двух дополнительных заметок, см. выше, в комментарии к статье «Несчастье в Порхове».

ИЗВЕСТИЕ ИЗ ПОЛТАВСКОЙ ГУБЕРНИИ
ДОПОЛНЕНИЕ К «ИЗВЕСТИЮ ИЗ ПОЛТАВСКОЙ
ГУБЕРНИИ»

ЕЩЕ ПО ПОВОДУ «ЗАМЕТКИ ИЗ ПОЛТАВСКОЙ ГУБЕРНИИ»
Впервые – в журнале «Современник», 1863: 1) № 1–2, отд. II, стр. 47–62; 2) № 3, отд. II, стр. 173–174; 3) № 5, отд. II, стр. 158. Без подписи. Авторство Салтыкова установлено В. Е. Евгеньевым-Максимовым на основании документов конторы «Современника» (В. Е. Евгеньев-Максимов. В тисках реакции, М. –Л. 1926, стр. 133. См. также «Литературное наследство», т. 13–14, 1934, стр. 70).

«Известие из Полтавской губернии» является переработкой статьи «Несчастье в Порхове», которая по не совсем ясным причинам, но, несомненно, не по авторской воле не могла появиться в «Современнике» в своем первоначальном виде. Подробнее об этом, так же как и об обстоятельствах, вызвавших необходимость в написании двух дополнительных заметок, см. выше, в комментарии к статье «Несчастье в Порхове».

Примечания

1
Я вас!

2
неведомая земля.

3
цель.

4
кто, что, каким образом, когда.

5
Считаю нужным оговориться здесь, что под словом «толпа» я везде разумею собственно так называемую «чернь». (Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)

6
В рукописи зачеркнуто.

7
и то и се.

8

Неоконченное. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
очень элегантным и модным.

9

См. первые четыре №№ «Отеч. зап.» 1871. (Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)

10

Первоначальная редакция статьи. Не окончена. – Ред.

11

Истинно древняя и истинно православная Христова церковь. 2 ч. (Прим. М. Е. Салтыкова.)

12

История русского раскола. (Прим. М. Е. Салтыкова.)

13

Хотя многоуважаемый автор «Истории русского раскола» и признает самостоятельность секты странников, но мы, с своей стороны, из его собственного изложения учения этой секты, не видим никаких таких характеристических черт, которые бы оправдывали мнение о таковой самостоятельности. Имев случай практически изучать раскол в многообразии его проявлений, мы убедились, что догмат «странничества» есть принадлежность и логическое следствие всякого раскольнического учения, или, лучше сказать, крайнее выражение их, и что, следовательно, всякий отдельный раскольнический толк имеет своих странников и пустынножителей. Указываемый почтенным автором догмат неповиновения властям гражданским, общий частью всем раскольническим сектам, весьма определенно выражается в учении сект: федосеевской и филипповской, а потому невольно западает в голову мысль: не есть ли рассматриваемая секта сопелковцев (по селу Сопелкам Ярославской губернии и уезда) лишь крайнее и фанатическое выражение одной из поименованных выше беспоповщинских сект. На это же сомнение наводит и общее всем раскольникам учение о числе 666, которое заставляет предполагать, что не одни сопелковцы, а все вообще раскольники разумеют царство антихристова уже наступившим. Впрочем, это не более как догадка, которую мы отнюдь не думаем выставлять как факт несомненный. (Прим. М. Е. Салтыкова.)

14

«Наше время», № 3 за 1863 год. (Прим. М. Е. Салтыкова.)

15

Всего этого следует ожидать от нового устава о судопроизводстве и судоустройстве. – Ред. (Прим. М. Е. Салтыкова.)

16

Мы отдаем полную справедливость г. Громеке: статья его написана со свойственной ему пламенностью и, главное, преисполнена фактов весьма доказательного свойства. Но для чего он прибавил к статье такой грустный финал? для чего он взял на себя роль адвоката, которой ему никто не поручал, о которой его никто не просил? Очевидно, г. Громека, постепенно разгорячаясь, заслушался наконец самого себя и, к довершению всего, дошел до такой восторженности, вследствие которой произошел в нем какой-то совсем нелитературный акт. Это совсем испортило его статью, ибо в результате оказался клякс. (Прим. М. Е. Салтыкова.)

17

См. 1-й т. «Современника» за сей год. (Прим. М. Е. Салтыкова.)

18

«Заметка» эта была напечатана в 1–2 №№ «Современника» за 1863. (Прим. М. Е. Салтыкова.)

19

«Салтыков в воспоминаниях...», с. 189.

20

Указания на «большое произведение» и «большую работу» принадлежат мемуарным свидетельствам С. Н. Кривенко и Н. К. Михайловского. См. «Салтыков в воспоминаниях...», с. 239 и 313.

21

Из статьи А. Н. Пыпина о Салтыкове в «Русском биографическом словаре», с. 97.

22

«Салтыков в воспоминаниях...», с. 210.

23

Н. К. Михайловский. Памяти Щедрина, – «Русские ведомости», 1889, № 119.

24

«Салтыков в воспоминаниях...», с. 269. Подчеркнуто мною. – С. М.

25

«Вестник Европы», 1889, № 6, с. 849.

26

«Русские ведомости», 1889, 27 мая, № 162.

27

И. А. Бунин. Собр. соч., т. 9. М., 1967, с. 543.

28

ИРЛИ, ф. 366, оп. 2, № 237.

29

Государств, архив Калининской обл. – ф. Тверского депутатского собрания, д. № 4194, л. 4.

30

семью, врачей и знакомых. – С. М.

31 Смысл этой пометы неясен. По предположению Б. Эйхенбаума (изд. 1933–1941, т. 7, стр. 513), Du Bois – вероятно, французский скульптор и художник XIX в. Dubois; Calame – швейцарский художник-пейзажист того же времени.

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке <http://saltykov-shchedrin.ru/> Приятного чтения!
<http://buckshee.petimer.ru/> форум Бакии buckshee. Спорт, авто, финансы, недвижимость. Здоровый образ жизни.
<http://petimer.ru/> Интернет магазин, сайт Интернет магазин одежды Интернет магазин обуви Интернет магазин
<http://worksites.ru/> Разработка интернет магазинов. Создание корпоративных сайтов. Интеграция, Хостинг.
<http://filosoff.org/> философия, философы мира, философские течения. Биография
<http://dostoevskiyfyodor.ru/>
сайт <http://petimer.com/> Приятного чтения!